

МАРК ХАРИТОНОВ

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ  
ФИЛОСОФИЯ



ImWerdenVerlag  
München  
2010

*Марк Харитонов. Провинциальная философия.*

Заглавная повесть одноименной трилогии, в которую входят также повесть «Проход Меншутин» и роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Написана в 1977 г., опубликована первоначально в журнале «Новый мир» в 1993 г., затем в книге «Возвращение ниоткуда» (1998). Публикуется по «Новый Мир» 1993, № 11

© Марк Харитонов, 1977, 1993, 2010

© <http://imwerden.de> — некоммерческое электронное издание, 2010

## Глава первая

### 1

Очередная поездка в Нечайск совпала для Антона Лизавина с днем рождения. Ему сравнялось тридцать лет — возраст вполне достаточный и даже несколько запоздалый, чтобы осознать себя, определиться в жизни — оформиться, так сказать. По отношению к Лизавину удачнейшим словом будет именно «оформиться» — в нем есть намек на этакую скульптурную завершенность облика. В самом деле, даже внешность Антона Андреевича по-настоящему установилась именно к этому сроку: ровная темно-русовая борода, недлинно остриженные мягкие волосы, выпуклый лоб — сюда бы еще очки, чтоб получилось лицо из числа типично интеллигентных, таких, знаете, чеховско-провинциальных. Но очков он не носил, и голубовато-серые умные глаза его лишь казались близорукими. Да и не так много добавили бы очки. А вот борода, отпущенная им недавно, с тех пор как это и в провинции стала позволять мода, оказалась на редкость уместной, она прикрыла и выровняла несколько уменьшенный подбородок, доставлявший в свое время Антону Андреевичу немало переживаний. Собственные фотографии трехлетней давности вызывали у него смутное любопытство: неужто я? — худенький молодой человек с мягкими чертами, с маленьким ртом, не созданным для внятной дикции, с зачесанным хохолком или зализанным пробором — каждый новый парикмахер заново творил ему прическу и внешность, пока не обнаружилось, что никакого пробора и вообще зачеса ему не требуется, волосы лучше всего лежали сами по себе, как им определено природой. Точно так же он понял, что ему лучше не носить рубашек с распахнутым воротом, пиджаков и шляп; принадлежностью его облика стали галстуки, мягкая куртка, шапочка с маленьким козырьком. Одновременно установилась и походка, легкая, неспешная. Смешно говорить, но даже почерк у него окончательно выработался к той поре: некрупные, почти без наклона буквы; а то, бывало, он на одной странице мог гулять и так и этак: то с изящными загогулинами, то просто тяп-ляп, то почти чертежным уставом. Да что там — он заимел наконец свою подпись: одинаково выведенные *А* и *Л* с абсолютно параллельными росчерками, затем, тесно и прямо, следующие четыре буквы, а вместо последних — расслабленная закорючка хвостиком вниз и влево, как бы говорящая: ну, тут умному человеку все ясно, можно и повольничать. Мелочь, разумеется, но в ней было свое значение. А то, скажем, в сберкассе (с тех пор как у него завелась там книжица) кассирша то и дело требовала, чтобы он расписался на ордере заново. Нет, не так, а как в первый раз. А он уже и не помнил, как было в первый раз.

Как-то в тетради студенческих времен Лизавин нашел листки с хохмами факультетского остряка Эдика Огурцова, характеристики знакомых в виде главий их книг: «Жанна Цыганкова. Опыт выращивания румяных щечек», «Клара Ступак. Мечты без звуков» — и тому подобные пузыри капустнического

остроумия. Так вот, о себе он прочел: «Антон Лизавин. Рецепт приготовления консервов ни рыба ни мясо». И, усмехнувшись, признал: так его, пожалуй, и воспринимали. Сейчас-то он был кандидат филологических наук, и. о. доцента в областном пединституте, но долго не умел себя подать, выразить. Как собака в присказке: глаза умные, а сказать не могу. С тех пор как пришлось читать лекции, у него откуда-то и голос прорезался, и разговор полегчал; приезжая в Нечайск, он, сверх собственных ожиданий, выходил даже рассказчиком, душой общества. Ведь земляки-соседи, да и родители, ждали от него, первого и единственного пока своего кандидата наук (и даже и. о. доцента), отчета и особой осведомленности обо всем на свете: от новостей политики и науки до исторических подробностей и... ну, хоть поведения новой загадочной кометы. Между тем ум Лизавина как раз был мало настроен на запоминание сведений, цифр и анекдотов — скорей на узнавание, он больше воспринимал обобщенную переливчатость жизни. Однако, к чести Антона Андреевича, он сразу понял, что уклоняться от запроса не вправе, и отвечал без запинки, экспромтом уверенным и даже вдохновенным, услаждая романтические (при всей недоверчивости) соседские души. Истина ли была им нужна? действительно ли так опасались они столкновения с кометой? Если уж на то пошло, они теперь обо всем на свете осведомлены были через телевизор и прочие общедоступные источники ничуть не хуже столичных жителей. Но они жаждали причаститься еще и к доверительному подтексту этого великого мира — не как-нибудь, а через своего личного, авторитетного представителя.

Вот так к тридцати годам почти ненамеренно, само собой, путем проб и ошибок все подогналось одно к одному, приладилось, обтесалось — одно удовольствие представлять столь определенного человека. За день до поездки Антон полушутя попробовал набросать свой портрет-анкету — и ему как раз пришло на ум то самое словечко о «скульптурности» (что, кстати, заставляет отдать должное еще одному несомненному его свойству — чувству юмора). Никакой расплывчатости, едва ли не на всякий вопрос выскакивал недвусмысленный ответ. Любимое увлечение? — кулинария; он знал толк в поваренных книгах и сам при случае готовил. Любимый цвет? — синий, точнее, голубовато-серый, под цвет глаз (тоже мелочь, но до недавнего времени ему все цвета нравились одинаково). Любимые предметы — всевозможные письменные принадлежности: хорошие папки, тетради, бьювары, хорошая бумага, хорошие авторучки. Между прочим, авторучку свою, которой писалась анкета, паркеровскую, с поистине вечным золотым пером, Антон получил в подарок на втором курсе и с тех пор — за десять лет! — ухитрился не только не потерять ее, но ни разу не повредить, чем в душе гордился. Мог он, в конце концов, позволить себе и слабость? Слабость — тоже штришок, определяющий личность.

Так подмигивал себе перед собственным зеркалом Антон Лизавин накануне дня рождения, и сама эта способность к взгляду ироническому могла бы навести, пожалуй, на мысль: так ли в нем все сполна закончено и обтесано? Ирония подразумевает ведь некую открытость, незамкнутость для перемен. К тому же и в анкете Антона Андреевича мерцали кое-какие неясности. Любимый цвет и прочее — все это мило; ну а пунктики посущественней? Служебное положение,

скажем? Разве не торчала перед доцентским его титулом сомнительная прибавка на манер ослиного междометия? Да, мог ответить Антон Андреич, для полного звания ему чуть не хватало педагогического стажа — но к этому шло своим чередом. Хорошо, а положение семейное?

Увы, пока не женат. К тридцати годам у него, конечно, за плечами несколько несложных романов; последний из них вроде бы приближался своим путем к женитьбе. Возраст поспел, что говорить. Словом, ближайшее будущее сулило еще перемены, но казалось, и они приближались по четкому надежному графику. Это все были те перемены, что даются временем, работой, накоплением свойств, без вмешательства стихийных сил или событий, которые хватают тебя за шиворот и волокут в черт знает какую неизвестность. Нет, чего спорить, Антон Андреич имел заслуженное право на уверенность, и чем устойчивей он становился в жизни, тем явственней крепла его всегдашняя усмешливая доброжелательность к миру.

## 2

В Нечайск Лизавин ездил раз в две недели по пятницам; он на общественных началах руководил местным литобъединением. Полчаса на электричке да еще полсотни далеко не гладких автобусных километров были ему не в тягость, он любил эти поездки — и не только потому, что они избавляли его от других общественных нагрузок, даже не только из-за возможности повидаться с родителями, пороскошествовать на маминых разносолах, всех этих наливках, вареньях и грибочках. Было у него влечение к самому городку, фатально не попадавшему в ритм прогресса. Году в девятьсот шестом, говорят, нечайская городская управа посылала делегацию в железнодорожное ведомство, надеясь подтянуть к себе проектировавшийся тогда путь. Но то ли поскупились послы, то ли незавидным показалось направление — магистраль просвистела стороной. Взялись было строить тут фаянсовый завод, да занимались этим так неспешно, что нынешнее поколение дожидаться его не особо надеялось. Для вывоза будущей продукции проложили тем временем новое шоссе к станции, и пока дотягивали последние километры, первые успели прийти в негодность, каждый год очередной участок пути закрывался на ремонт, а транспорт пускали в объезд, по тракту, мощенному еще при Екатерине, — словно на экскурсию, демонстрируя, как ездили прежде, и наводя на мысль, что, может, для фаянсовой продукции и лучше оставаться пока нерожденной.

Конечно, Нечайск менялся с годами. На главной улице и возле стройки уже стояли пятиэтажные дома, кинотеатр «Спутник» был вполне современной бетонной архитектуры, здесь одевались, кто умел, почти по московской моде, смотрели телевизор, гоняли на мотоциклах по улицам, где единственным дорожным знаком была табличка против райсовета: «Проезд на тракторе воспрещен». Но многие и рвались отсюда в мир более наполненный, энергичный, если даже уютно — серьезный, каким он все очевидней мерещился в инопланетном сиянии телеэкрана. Потому что в Нечайске и жители пятиэтажек ходили, как все прочие, с ведрами к колонке (водокачка до верха не дотягивала), вскапывали

у леска огороды, ухитрялись держать скотину; вообще горожанами никто себя как-то не чувствовал. «Поехать в город» значило здесь отправиться в областную столицу.

Лизавину казалось, что именно с телевизором в нечаяскую жизнь вошла неизвестная прежде нервность. Каждодневные наглядные картинки иного, несравненного существования многих расстраивали и бередили, вызывая чувство ущемленности, которое проявлялось в болезненной гордыне, в пьяном самоутверждении, пристрастии к заемным словам и велеречивым объяснениям. Антона Андреевича это скорей забавляло. Он-то знал, что и в областной столице, и в самой Москве людей точно так же зудит беспокойство и ущемленность; даже в своей нервности Нечайск повторял этот большой мир, не всегда умея ценить собственные счастливые свойства. К тому же все здесь невольно сбивалось на пародию. Лизавину были чем-то милы даже несурезицы этой жизни, он любил ее тепло, уют, юмор, наивность, любил этот воздух — ни деревенский, ни городской, и если посмеивался порой над Нечайском, то как над самим собой, ибо был плоть от его плоти. Тут дело было не в одних сентиментальных детских воспоминаниях, понятных, наверно, каждому. кто вырос в таком вот городке, и именно до телевизора — с лаптой на травяной улице, с запахом ленивой пыли, разогретой крапивы и лопухов, с утренними школьными сумерками (они пульсируют от биения колокола, что издали подгоняет опаздывающих, и эта сладкая дрожь до сих пор отдается в теле), с благодарной жадностью до зрелищ, когда на детскую самостоятельность тащили из домов стулья, а первый настоящий спектакль, поставленный в клубе бывшим артистом Прохором Ильичом Меньшутиним, остался событием, не превзойденным никакими позднейшими эффектами и чудесами. Все это само собой; но душевному устройству Антона было близко здесь вообще какое-то особое качество жизни — вроде бы и проходившей с утра до вечера в работе, однако в работе не такой целеустремленной, как на большом производстве, и в то же время не крестьянской. Может быть, потому у людей здесь оставался простор для своеобразной работы мысли? — в стороне от быстрины всегда образуются завихрения. Между прочим, почва в Нечайске непонятным образом благоприятствовала причудам и странностям; например, огурцы здесь часто вырастали похожими на человечков, а на огороде Лизавиных уродился однажды помидор вовсе необычайный: внутри некоторых плодов оказались не семечки, а целые помидорные растеньица с крохотными корешками, листьями и зачатками новых плодов.

Лизавин хорошо знал в городке многих, как знал пассажиров привычного автобуса, что всегда в один день недели, в один час и даже на одних местах ехали с ним в Нечайск от станции; тут был уже как бы островок родной территории. Сиденье рядом уплотняла весьма громоздкая дама, инспекторша районо Лариса Васильевна Панкова. Когда-то она была секретаршей у Лизавина в школе, до сих пор подчеркнуто обращалась к кандидату наук на «ты» и не упускала случая показать, как мало значат для нее все эти ученые титулы. От нее пахло запаренными духами «Юбилейные», ватинным потным теплом и нафталином куньего воротника. Едва разместившись, она заговорила с Антоном про какую-то историю с его отцом, учителем географии Андреем Поликарпычем (как, неу-

жели ты еще не слышал?), — у него украли в очереди перчатки, вор был тут же пойман, оказался не местный, а какой-то проезжий художник, ни в чем, правда, не пожелавший признаться, вышел скандал. Начальственно-неодобрительный тон Панковой переносился все больше на самого Андрея Поликарпыча, допустившего над собой такую нелепость и вообще позволившего себе слишком вольные отступления от учебной программы; с педагогических проблем разговор соскользнул на воспитательные задачи литобъединения, Антон постепенно остановил попытки вникнуть в смысл этой речи, полной мнимозначительных намеков (что за перчатки? надо будет расспросить отца). Панкова обладала удобной способностью говорить, не нуждаясь в отклике, даже на свои вопросы отвечала сама. Лизавин мог иногда поддакивать ей вслепую, одновременно прислушиваясь к беседе на заднем сиденье. Там развивал очередной проект экономии и обогащения бывший скорняк Раф Рафыч Бабаев, в кепке леопардового меха, такой широкой, что она задевала при входе за дверцы автобуса. Антон с детства знал его и его черную дворнягу Дамку, приносящую каждую осень по шесть щенят, всегда с таким же безупречным, как у нее, лоснящимся мехом под крота. Бабаев допускал их пожить до годовалого возраста, потом вешал у себя в подвальчике, из шкурок делал шикарные воротники и шапки, а собачьим салом снабжал в качестве лекарства туберкулезных больных, в том числе и эту вот Панкову (смешно сказать, Антон помнил ее тощей девицей с кирпичным румянцем на чахоточных щеках). Но Дамка попала под грузовик, скорняк забросил свои огромные ножницы, ржавчина на которых напоминала пятна крови, подался искать свое Эльдorado в областную столицу, торговал в ларьке, изворачивался в усилиях оставить за собой и городскую прописку, и дом в Нечайске, который на лето сдавал как дачу. В местной газете его помянули однажды как «небезызвестного Бабаева»; этот эпитет стал звучать как часть фамилии, через черточку: Небезызвестный-Бабаев. В пятницу вечером он вез в Нечайск на два базарных дня новую установку для добывания денег (под вывеской «Заправка авторучек пастой из ФРГ»), а также резиновую клизмочку, с помощью которой за дополнительные десять копеек тут же продувал желающим засорившиеся стержни. Увы, желающих опробовать клизмочку вторично становилось все меньше, Бабаев кривил губы в предчувствии очередного обмана судьбы. Непреходящая забота отравляла его кровь, как пожизненная зубная боль, и восточные глаза его были темны от оскомины неудач. Сейчас в автобусе он философствовал с бухгалтером райфо Бидюком на тему пустых бутылок. На Севере, объяснял он, бутылки из-под винно-водочных изделий почти ничего не стоят. Везти их оттуда государству убыточно. В Ханты-Мансийске, например, бутылка стоит всего две копейки, никто их не собирает. То есть хозяйственный человек мог бы проездом на каждой бутылке иметь десять копеек, на десяти тысячах — тыщу рублей. А никому это и в голову не приходит. Да что там, американцы и те поражали Раф Рафыча. Он вычитал в газете, как один шутник миллионер завещал свой миллион дому престарелых — но с условием, чтоб деньги потрачены были только на спиртное. Как пишут, эти американцы не смогли придумать приступа к дареным, можно сказать, деньгам. Хотя, говорил Бабаев, накупили бы на тот миллион самого дешевого какого-нибудь портвейна или

даже кагора, а там хоть спустили бы их в реку, если престарелые в Америке не пьют; зато потом бутылок сдать — ведь тысяч на сто, не меньше...

Слушая привычные эти разговоры, перебиваемые тряской да натужным взревом мотора, Антон Лизавин думал, что, в сущности, на маленьком пространстве Нечайска модель жизни та же, что и на просторах всемирно-исторических, со своей экономикой, политикой, философией. Но даже политика здесь имела дух домашний, обозримый. На таком пространстве укрупняются масштабы обыденного и жизнь видится наглядней. Разговор же об уровне всегда относителен и имеет смысл лишь в сравнении.

Мысли на эту тему были связаны для Антона с именем малоизвестного писателя двадцатых годов Симеона Милашевича, которого он поминал в своей диссертации. Этот безвременно погибший провинциальный бытописатель, философ, садовод и вегетарианец жил в городке недалеко от Нечайска. Лизавин обнаружил в областном архиве целый сундук с его бумагами, разбором которых был обеспечен на много лет вперед. Милашевич был не просто певцом провинции, но и своеобразным ее философом. Провинция, говорил он, есть не географическое понятие, а категория духовная, способ существования и отношения к жизни, основанной на равновесии, гармонии и повседневных простых заботах, — жизни, где знают цену благополучию и покою. Это как бы женственная основа бытия, залог ее теплой устойчивости: дом, очаг, семья, детская колыбель, добыча хлеба насущного — место, куда возвращаются после поисков, потрясений и жестокого к себе и другим героизма, как возвращаются после дождя и бури в натопленную сухую комнату, стыдясь признаться, точно в слабости, в естественной тяге к доброму и мягкому уюту. О, как возносил Милашевич этот мещанский уют, его удобные, сподручные, по человеческой мерке сработанные предметы и сооружения, эти стулья с наспинными подушечками, вышивки, цветы на окнах и в палисадниках! В какую музыку превращались под его пером семейные трапезы, летние чаепития с земляникой и сливками! «Мы так не умеем подойти к этой жизненной сфере без высокомерия и предвзятости, — писал он, — что возникает подозрение, действительно ли так хотим мы счастья, которое должно означать венец и предел истории?» А между тем он почти предчувствовал, что, несмотря на негромкость своих пристрастий (а может, как раз из-за них), сам угодит между спиц своей напряженной эпохи, но заранее предупредил, что это вовсе не опровергнет его, а лишь подтвердит основу его правоты.

Так говорил Милашевич.

Никакие внешние перемены жизни или новейшие изобретения, замечал он, не отменяют сокровенной сути провинции, хотя могут сказаться на поверхностных ее чертах. Провинция есть и в многомиллионных городах, и в душе каждого человека; провинциальным может быть скромное государство, и многие даже великие умы в разгар эпохальных страстей недаром радовались своему непритязательному, без надрыва, подданству. Она всегда будет представлять большинство людей, поскольку большинство людей всегда будут не великими и предпочтут не чувствовать себя несчастными оттого, что они не великие; в любой стране она захватывает массовую муравейную среду, где творится, может,



самая широчайшая философия жизни. Он предвидел, что эта среднегородская, называемая по привычке обывательской среда будет все больше воплощать собой народ, сменяя прежний, отождествлявшийся с крестьянством, который творил когда-то духовные формы, язык, фольклор. Этот народ уже имеет свою систему ценностей, житейские понятия, обычное право, свою эстетику, этику, свой язык, наконец, который может порой ужасать, коробить вкус, но от которого нельзя просто отмахнуться. Даже заборный фольклор, утверждал Милашевич, достоин изучения. Один герой у него собирает коллекцию разнообразных специфических речений; как знать, замечает он, пусть не сейчас, но, может, когда-нибудь, в стерильном и безнавозном будущем, эту его тетрадочку будут изучать, как изучают сейчас систему древних проклятий и ритуальной похабщины.

Так говорил Милашевич.

И хотя у Лизавина хватало иронии вносить необходимые поправки в эту провинциальную поэзию (ибо вся философия Милашевича была именно поэзией, главное доказательство которой — во внутренней убежденности и способности наделять чувством счастья), она вызывала в нем особый отзвук. Об этом еще будет речь погодя, когда придет пора выдать последний секрет Антона Андреевича. Дело в том, что кандидат филологических наук, и. о. доцента и в перспективе полный доцент, а может, и профессор, руководитель Нечайского литобъединения в душе сам примеривался к изящной словесности, пока еще неуверенно, более в воображении, но иногда и с золотым паркеровским пером в руке. И почему это писатели так любят повествовать о людях пишущих? — спросят однажды на занятиях у самого Антона Андреевича. — Материал, что ли, наиболее знакомый? — А потому, — ответит он студентам, — что нам с вами самим это как-то по-родственному интересно. Потому, что людей пишущих куда больше, чем можно предположить; вообще каждый, кто пытается воспринимать свою жизнь на пересечении со смыслом и красотой, уже приобщен душой к странному бытию художника — мы узнаем в нем свое, знакомое нам по особым, свободным от службы минутам. Занятно и поучительно видеть человека, который пробует найти для всего этого слово, в котором наглядно демонстрируется, так сказать, взаимопроникновение жизни и духа. Ну и так далее...

Секрет, впрочем, уже выдан, а остальное потом. Возможно, на такие вот отвлеченные темы Антон Лизавин и размышлял в тот апрельский вечер по пути в Нечайск, накануне своего тридцатилетия, не подозревая, какой поворот его жизни и его мыслям сулит эта поездка. За автобусным окном давно было темно, Лизавин смотрел на свое отражение и сквозь него. Иногда проплывавшие огоньки освещались с отражением зрачков, тогда глаза светились жутковатым светом. Даже в этой темени Антон отчетливо представлял, где они едут; он и с закрытыми веками в любой момент взялся бы определить, какой сейчас миновали поворот, какую просеку в лесу, даже какой придорожный столб, — и, вспыхни сию секунду свет, он мог бы подтвердить верность нутряного своего чутья... Вот наконец Нечайск, Базарная площадь, одинокий яркий фонарь, высокие окна пятиэтажек, дорога вдоль озера, по которой он мог спускаться на

ощупь, вот школа, родительский дом — он предвкушал заранее каждый шаг, движение, которым повернет щеколду калитки, хруст подмерзлого снега на дорожке перед крыльцом и как откроет дверь в освещенную комнату — все было повторением привычного, кроме одного: за столом, уже накрытым к праздничному ужину, сидел непредвиденный гость, случайный знакомый Антона, москвич Максим Сиверс.

### 3

С Сиверсом Антон Лизавин познакомился прошлой осенью в Москве при обстоятельствах забавных. Он только что получил наконец долгожданный кандидатский диплом и по сему поводу выпил у своего московского коллеги и официального оппонента Никольского. Этот спокойный умник с мучнистым лицом, которое перестало стареть после сорока лет, сугубо заботился о своем здоровье, был, подобно Милашевичу, вегетарианцем, но при этом горазд выпить — сочетание своеобразное, однако обоснованное не менее своеобразной теорией о том, что алкоголь совместно с травками, грибочками, огурчиками и прочим для вегетарианского здоровья не только не вреден, но даже полезен, чего не скажешь о том же алкоголе, заедаемом колбасой или тем более копченым окороком. Такая здоровая выпивка разнообразит мироощущение человека, достигшего определенной стадии совершенства, дарит новыми чувствами и переживаниями, яркими, но безопасными в силу своей временности. Никольский вообще основывал свою жизнь на множестве сподручных теорий, в себе самом видел как бы инструмент для познания закономерностей, в литературе же — прежде всего материал, красивую, но сырую породу, в недрах которой скрыты крупницы золота, — писатели в грубой своей простоте по-настоящему не способны извлечь все эти структуры, соответствия, мифы. Распознав склонность Лизавина к сочинительству, он иногда иронически прохаживался на сей счет — с сожалением к человеку, способному даже в мыслях променять высокое интеллектуальное служение на темную заготовку сырья. Теоретический склад натуры был связан у Никольского с также весьма благодатной для здоровья способностью ничем не проникаться чрезмерно: он мог за обедом читать в журнале просветительскую статью о глистах, и это не портило ему аппетита.

Наверно, Антону действительно не хватало такой отстраненности — водка под травяную закуску подействовала на него коварно. По-настоящему он оценил свое состояние, когда за полночь очутился на пустынных московских улицах с портфелем в руке и билетом на трехчасовой ночной поезд. Он вышел в сквер перед домом Никольского, как в свой нечаянский садик, и сдвиг хмельного воображения, усугубленный сентябрьской свежестью, еще долго держал его в убеждении, что он движется по Нечайску. Но с этим Нечайском что-то произошло. Он разбух, поднялся вокруг, как на опаре, затвердел, вытеснив зелень. Окаменели деревянные мостки. Там, где только что, казалось, тянулись теплые, живые заборы, сады и палисадники, все залубенело, сама земля покрылась коростой или коркой. Внутри эта земля пронизана была жесткими сосудами — Лизавин видел их сквозь толщу, как на цветной схеме, горячие, холодные, разно-

цветные, толстые каналы для отработанных веществ, светящиеся жилы электрических нервов в ореоле искр; из-под земли они поднимались в дома, сраставшиеся в вышине с электрической призрачной твердью. Редкие светящиеся окна были пробиты в ней высоко над головой. Это был другой возраст земли и другой возраст неба, прежний Нечайск с его незатверделыми хрящиками остался далеко в прошлом, и сам Антон казался себе перенесенным в какое-то непомерное, захватывающее дух будущее.

Будущее это было пустынным. Редкие фигуры появлялись откуда-то из складок, из наростов улицы, из-под мышек, из перевернутых дыр ужасно неудобным способом и тотчас исчезали бесследно — очень вовремя, потому что Лизавин не знал, как их обойти. Одна фигура все же не избежала столкновения, она материализовалась непонятно откуда, перекувыркнувшись в воздухе, и загородила Лизавину путь, переливаясь и изворачиваясь вместе с улицей.

— Я голубь мира, — сообщила наконец фигура; туманные крылья трепыхнулись за ее плечами.

— Ну и что? — не проявил удивления Лизавин; он словно в душе всегда предполагал, что голубь мира выгладит именно так.

— Я тебя сейчас уклюну, — сказал голубь мира. Тут кандидат наук не нашелся с ответом, и ему стало стыдно.

— Ты что, иностранец? — спросил голубь мира.

Антон оглядел себя посторонним взглядом и пожал плечами: в легком плаще-болонье, с портфелем в руке, при галстуке, но в то же время бородатый, на этой фантастической улице — видимо, иностранец.

— Мир, дружба, — сказал голубь мира почему-то с акцентом. Подумал, потом снял с себя значок и нацепил Лизавину на отворот пиджака — с внутренней стороны, как потайной знак. — Ну? — добавил он требовательно.

— Не понимай, — попробовал вывернуться Антон, тоже с неожиданным для себя акцентом.

— Теперь ты давай сувенир.

— У меня нет, — растерялся кандидат наук, чего нельзя было сказать о голубе мира. Он деловито залез к Антону в брючный карман, выгреб оттуда мелочь вместе с носовым платком, платок вернул Лизавину. Тот не сопротивлялся, он не хотел нарушать обычаев города будущего. Удовлетворившись, голубь мира повел его на скамеечку в сквер, где объявил, что он вдобавок — тенор, какого нет в прославленном миланском театре Ла Скала. В подтверждение набрал полную грудь воздуха и вывел такую чистую, высокую, такую ангельскую руладу, что кандидат наук икнул. Не от удивления, ибо в этих фантастических дебрях неудивительно было сидеть среди ночи с пьяным тенором, какого нет в опере Ла Скала, — а от восторга. Дальше первых нот, однако, миланского голубя не хватило. Он закашлялся, отер слезу. Потом отцепил с Антонова лацкана свой значок и, не оглядываясь, растворился в мутном электрическом мареве. А кандидат наук уже не мог оторваться от уютной, приладившейся к телу скамейки. Потом он смутно вспоминал, как еще двое пьяных весьма шумно и агрессивно возмущались его расслабленной позой, его бородой и почему-то

упирали тоже на иностранцев: «В Москве форум идет, иностранцы ходят, а он тут разлегся»; как он увидел вдруг милиционера и, прикрывая рот ладошкой, чтоб дышать в сторону, подступил искать у него защиты; как милиционер вел всех троих в отделение — бесконечно долго, а пьяные все шумели оскорбление про форум в Москве, про бороду и про иностранцев — пока они не натолкнулись еще на одного красавца. Этот восседал прямо на краю тротуара, поджав подбородок кулаком, как знаменитая скульптура. Он даже не повернул головы, когда старшина похлопал его по плечу, только пробормотал что-то не на русском языке; перевести удалось одно слово: «Метропол». Величественная невозмутимость пьяного подтверждала, что вот это иностранец так иностранец и что надо проводить человека в «Метрополь». Двое пьяных тем временем куда-то исчезли. Старшина предложил Лизавину самому добраться до отделения («для вашей же безопасности»), и Антон в восторге стал объяснять, что он бы от души, но у него в три часа поезд, в доказательство полез за билетами — и тут-то обнаружил, что билеты исчезли. Паспорт был на месте, новенький кандидатский диплом на месте, а билетов не было. Милиционер уже удалялся по неровно гладкой улице, пошатываясь и подпирая плечом громадного Мыслителя, а он еще шарил у себя в карманах и портфеле — билетов не было, равно как ни копейки денег: последнюю мелочь выгреб шаромыжник из Ла Скала. Не на что было даже отправить телеграмму домой, чтоб выслали десятку на билет, не было двух копеек, чтоб позвонить кому-нибудь. И кому было звонить в этом дремучем, окаменелом городе, где у него не было современников? Что было этому городу до человека, который хотел и не мог вернуться в свой соразмерный, доступный мир, где ноги послушны и согласны идти прямо, где в комнате с запахом клеенки, за чаем с бубликами шуруется сквозь пенсне Милашевич? О! здесь все тянулось к грандиозности: мысли, дела, дома, здесь полагалось жить целеустремленной деятельностью, петь голосами миланских теноров, думать о космосе, открытиях и свершениях, здесь даже пьянчуг заботят проблемы международные. Шел второй час бог знает какого года. Луна выволакивала на небо облачный ореол. Было все равно куда идти, поэтому Антон сел на парапет какой-то ограды, закинул ногу на ногу, оперся локтями о портфель и засмеялся над собой, над своим идиотским положением. Он сидел так, ни на что не надеясь, когда у него и попросил прикурить вот этот самый Максим Сиверс.

Лизавин потом не взялся бы судить, был ли москвич пьян, как все прочие, встреченные им в ту ночь, включая милиционера. Поначалу он показался ему просто алкашом — должно быть, из-за ночного, болезненного вида его худого лица с глубоко затененными глазами. В свете голубых фонарей все лицо как бы строилось вокруг этих огромных глаз. Но, конечно, алкашом не простым, а из этого мира и города, под стать им, как ни смешно, это пьяное и заведомое представление о незаурядности москвича так и отложилось в душе.

Антон Андреич сам не курил, но спички при себе держал специально для таких случаев: ему приятно было удружить встречному, а там и словцом перекинуться. На сей раз он коробок почти швырнул с неприязнью, так чужды ему были здешние обитатели, на разговор откликался, прямо скажем, саркастически (алкаша, видать, потянуло перемолвиться с живой душой, но о чем им

было говорить — межпланетным гигантам с заблудившимся простаком, который потерял билет в родные места?) и не сразу понял, когда тот стал совать ему десятку. «Зачем? — забормотал. — Не надо мне. Не возьму...» Потом как бы очнулся, спохватившись, стал благодарить — наверно, даже более пылко, чем того требовал случай (может, для московских пьянчуг это обычное дело, может, для них десятка — не деньги). Чтоб скрыть смущение, он стал, переигрывая, валять ваньку-провинциала, записывать адрес, дабы завтра же, немедленно выслать долг, совать паспорт в доказательство, что не обманывает, чуть разве что не раскрыл портфель и не предложил в залог какой-нибудь из подарков, которые вез родителям. Москвич, терпеливо переживавший эту комедию, его опередил:

— Вы еще пиджак с себя снимите в залог.

Антон осекся; хмель опал с него внезапно, как опадает туман; мир вокруг стал вещественней. Он качнул головой и рассмеялся. Он показался вдруг сам себе похожим на инвалида-пьянчужку — знаете, подступает иногда такой на улице с церемоннейшими предисловиями: только что вышел из больницы, извините великодушно, не на что до дому добраться — не одолжите ли двадцать копеек? И еще кепку подымет, покажет стриженую голову в пятнах зеленки. А дашь ему эти два гривенника — еще пять минут будет благодарить в таких восторженных выражениях, что почувствуешь себя скрягой: почему не дал рубль. Только ведь за рубль он начнет биографию рассказывать. А это не всегда хочется — тем более что за рубль... Он поделился с собеседником таким впечатлением о себе, и, наверно, не без остроумия, потому что москвич заинтересованно взглянул на него и предложил проводить до вокзала.

— Надо ведь еще купить билет? — сказал он.

— Да. Конечно. С удовольствием. Если вам некуда спешить... то *есть* вас нигде не ждут.

— Именно потому что ждут, — неопределенно хмыкнул тот и выпустил из нервных ноздрей дым.

Здесь надо упомянуть одну особенность его лица, которую сам Антон оценил не сразу. У Сиверса был занятый разрез рта: большие, но тонкие, очень красивого рисунка губы от природы чуть подгибались кверху и яркая, цвета губ, овальная родинка в левом уголке как бы продолжала, оттягивала их в неровной иронической усмешке. Если на него не смотреть, голос и тон казались вполне серьезными, а глянешь — черт его знает...

— А-а... понятно, — подумав, кивнул Антон Лизавин.

— Что понятно? — вскинул брови москвич, но Антон ответа не дал.

Они шли по ночному городу. Где-то на отдаленных трассах проплывали огоньки машин. Пожалуй, считать себя протрезвевшим Антону было еще рано; хмель все больше переходил в странное возбуждение, близкое тому, какое возникает в присутствии привлекательной женщины или просто иных людей, способных даже молча создавать вокруг себя силовое поле, когда невольно и бескорыстно показываешь себя на вершине возможностей. Выровнялась только походка, разговор же вихлялся неуправляемо и был этим по-своему прекрасен; он вспоминался потом Антону не сплошь и не подряд — обрывками, зацепившимися за выступы домов, перекрестки, вокзальные переходы. Это был обыч-

ный треп обо всем на свете, какой возникает именно с первым встречным, в поезде, на вокзале, в условном пространстве, где все отношения временны и самая рискованная откровенность ни к чему не обязывает: распахнешься или, наоборот, влезешь в душу, а потом расстанешься навсегда — образчик славного отношения к самому этому временному миру как к череде преходящих мимолетных встреч. Антон, помнится, даже порассуждал на эту тему вслух. «Впрочем, кому как, — возбужденно посмеивался он. — Все-таки хоть мимолетно, да открываешься, впускаешь другого в себя, внутрь, можно сказать, в свой мир и душу — есть в этом свое таинство, что-то из другой сферы. Не перед каждым же распахиваешься — если ты не из таких, что за рупь... ха-ха-ха. Или сам очаровываешь кого-то, неизвестного прежде, соблазняешь, чтобы впустил, и так далее. Меня, кажется, занесло, да? Вдруг такой образ».

— Нет, почему же, — хмыкнул интеллигентный знакомец; он, казалось, все присматривался к своему говорливому спутнику. — Но как и в той самой *иной* сфере, ошибка думать, что другой этого не желает...

Учетверенная тень Антона Лизавина восхищенно размахивала на перекрестке четырьмя портфелями... Но, пожалуй, о сфере и мимолетности было сказано потом (впереди показались башенки вокзала, и Антон, помнится, удивился, как быстро они дошли). До этого он ненароком успел оседлать своего конька и, помянув Нечайск, на протяжении довольно долгого квартала излагал про Милашевича, про философию провинциального равновесия и счастья. К слову, оказалось, что про Нечайск Сиверс не только слышал (редкий, надо сказать, случай), у него был там даже армейский приятель, Андронов, Константин, не знаете? — имя показалось Антону вроде знакомым, и это подкрепило иллюзию близости и замечательного совпадения, но слишком напрягать память он не стал, увлеченный таким откликом и собственным токованием. Москвич шел рядом в легкой куртке с откинутым капюшоном, в профиль его лицо, без клоунской родинки у губы, казалось нормальным, даже грустным, он кивал, как будто со всем соглашаясь, только при имени Милашевича наморщил с глубокими залысинами лоб: дескать, кто такой? Этот момент стоит отметить особо, потому что именно с него разговор пошел вдруг черт знает какой интеллектуальный. Просто от такой высокомерной гримасы Лизавину захотелось показать и Милашевича и себя; он так распелся на известную нам тему, что Сиверс качнул головой, произнеся что-то вроде: «Ого, великий философ!» А уж этой иронии кандидат наук только и ждал, сам Симеон Кондратьич ухватился бы за нее. От величия он первым делом и отталкивался. Он, если угодно, хотел представлять именно людей, которым так называемые великие предлагают считать свою жизнь, по сути, бессмысленной. Устройство для переработки пищи в дерьмо, как выражается один его герой, — вот кто они по сравнению с теми, кто оставляет после себя дерьмо окаменевшее, мраморное или еще какое-то особенное: в виде памятников и тому подобного. Милашевич больше всего хотел избавить обычного человека от зависти и тоски. Он остерегал от претензий на бессмертие и смеялся над тщеславной потребностью удостовериться факт своего существования на земле. Он считал, что выбирать приходится между величием и счастьем. Истинное величие, говорил он, неизбежно трагично — хотя бы потому, что оно

не совпадает с окружением, вырывается из него. Да и неумеренный ум слишком напоминает о трагичности самой жизни, обреченной на смерть. Если человеку удастся быть нетрагичным — значит, он в чем-то поступился своей незаурядностью. Может быть, даже истиной. Мы это делаем каждый день, заминая мысль о смерти. Жизнь, говорил Милашевич, есть компромисс по самой временной природе своей. Все или ничего — лозунг самоубийц.

Вот такую примерно исполнил арию. (Светофор перед ними для собственного удовольствия сменил зеленый свет на красный.) Голова Антона была далека от кристальной ясности, но получалось на удивление складно. Впрочем, при кристальной-то ясности он, может, и придержал бы слишком рискованные парадоксы; это уж именно от распахнутости чувств: так сказать, выкладывал, чем был богат, демонстрировал интеллектуальные достопримечательности. Но сам уже готов был соскользнуть на другую тему (возможно, как раз о мимолетности и прочем), когда москвич без явного повода вернул к Милашевичу: это что ж, значит, стоит иногда окорачивать свои мысли, чувства и желания? Видите ли, отвечал Антон все еще легкомысленно (однако довольный: ага, зацепило!), у Симеона Кондратьича есть одно размышление о вздорной человеческой природе. Не в пример животным, говорит он, человек тянется, например, есть, даже когда не голоден. Даже когда это вредно ему для здоровья. Не говоря уже о фигуре...

— А... — быстро перехватил москвич, — умерять аппетит ради собственной пользы? А в остальном — тоже себя обкорнать?

— Ну... — не дал себя сбить Антон, — в некоторых философиях (Милашевич их вспоминает) умерщвляют плоть, истязают себя самым жестоким образом, подвергают испытаниям тело и дух — ради мудрой бесстрастности, покоя и блаженства. Это для них, по сути, синонимы: покой, бесстрастие и блаженство. Но если и истязать себя не надо?..

— Подозреваю, что это будет другого рода блаженство, — опять не дал закончить Максим. В голосе и дыхании его появился беспокойный клекот, астматическое присвистывание; на слух можно было подумать, что он нервничает, — Антону занято было угадывать при этом родинку на невидимой стороне лица. — Бесстрастие вообще равноценно счастью в философиях, где небытие желаннее бытия...

Вот ведь — и про философии знал! Эдаких собеседников подсовывала Москва среди ночи прямо на улицах!.. Да, перед этим (а может, позже) был еще эпизод — москвич вдруг оборотил к кандидату наук полную фазу своей запечатленной усмешки.

— Знаете, — сказал, — иногда хочется дернуть вас за бороду: настоящая ли?

— В каком смысле? — не понял тот, однако потянулся к подбородку.

— Такая от вас исходит голубизна... неправдоподобная.

— То есть вы хотите сказать, что я...

— Ну не то чтобы...

— А что?

— Да так...

Безотказный, между прочим, прием: пожать плечами и не снисходить далее многозначительных междометий — в собеседнике само собой заерзает беспокойство и желание защищаться. Но Антон для этого был в слишком пенистом настроении, к тому же москвич поперхнулся, видимо куревом, и закашлялся так надолго, что кандидат наук успел забыть, на чем, собственно, они столкнулись и столкнулись ли вообще... Еще хуже Сиверс раскашлялся, когда упомянул свою тетку, у которой воспитывался. По какому поводу эта замечательная тетка возникла в разговоре и почему так разволновался Максим, вылетело из памяти начисто, хотя именно в этом месте, от чужого кашля, Антон почти окончательно протрезвел. Он был человек весьма способный к сочувствию и сопереживанию, и пока москвич выбирался на ровный берег, чтобы подхватить качавшуюся все это время на весу фразу (они ужасно долго напропалую пересекали пустынную площадь), Антон устал, точно его самого протрясло. Так что дальше он слушал поскучнев, все меньше понимая, при чем тут эта действительно замечательная тетка. Она училась, рассказывал Максим, в Сорбонне, в революцию вернулась, порвала с отцом-профессором, а заодно и с сестрой, Максимовой матерью, вообще жизнь прожила бурную, всякого натерпелась — но не о том речь, а о странностях ее памяти. Какие-то времена и события она просто неспособна была вспомнить; когда ее невзначай подводили к ним, она с непонятным затруднением прикладывала палец к переносице, точно пересиливала тяжкую головную боль. Максим лишь потом понял, что это была действительно боль, и некоторые вопросы усугубляли ее до такой степени, что зрачки покрывались мутной страдальческой пленкой, а голос менялся от напряжения. Когда она умерла, выяснилось, что на огромном участке мозга сосуды у нее были обызвествлены, как кораллы; никто не знал, какую она терпела долгие годы муку, не позволяя себе даже малой жалобы. Но эта боль — вот что еще понял Максим — была платой за некое примирение с памятью, может быть, с совестью; она помогала старухе задним числом перестраивать прожитую жизнь, избирательно отключая какие-то центры и точки, засвечивая своим сиянием, как на пленке, дни, месяцы и целые годы, невыносимые для прикосновения. В этом преобразованном прошлом она неизменно любила отца, не расставалась с сестрой, могла гордиться своей всегдашней правотой и не поступаться ни грамом прирожденной, риторической честности...

Он псих, — вдруг впервые отчетливо мелькнуло у Лизавина. — И тетка была того, и сам явный псих. С чего он стал мне все это выкладывать?.. Вообще Антон уже подозревал мораль этой нервной, торчком вставленной в разговор новеллы, вносившей в него посторонний, зачем-то драматический диссонанс.

— Ну, это конечно, — промямлил он. — Самосохранение... Природа по-разному заботится.

— Я хочу сказать, есть разные способы прятаться от беспокойства, от томления духа, тоски, тягостей... от сомнений, — с тяжелым дыханием продолжал москвич. Похоже было, что он и впрямь разволновался; в какое-то живое место попал невзначай Лизавин. — Все прячутся от жизни по-своему. Куда-нибудь. В семью, в конуру, в кабинет. В одиночество. В болезнь, в глухоту, в запой. В рабо-



ту, когда приходишь домой и валишься не раздеваясь, бессильный даже любить женщину. В развлечения, в чудачества. Возможно, люди различаются по способу выискивать цель.

— Еще можно прятаться в поиски смысла жизни, — подхватил Антон, готовый вернуть разговор в прежнюю беспечную тональность. — О, это увлекательное занятие. Так погрузишься в извлечение жизненного корня, что жить почти перестаешь.

— А отказаться от поиска смысла — тоже спрятаться? — усмехнулся Максим. То есть он усмехался все время, но Лизавин не всегда про это вспоминал.

— Верно, все верно, — согласился он. — Щадить себя естественно, это инстинкт. Ребенок переиначивает страшную сказку, обходит, пропускает опасные места. А как же! Совсем без укрытия, голеньким, так сказать, под небесами — холодно, бр-р!

— Я только хочу сказать, это не так бесплатно дается. Все требует цены.

— Ну-у... тут кому как повезет. Кто как устроится. При чем здесь непременно — расплачиваться?

— Черт его знает, — качнул головой Сиверс. — Наверно, кому как. У дворян когда-то было понятие о чести. Подступит, и неизвестно, зачем нужно, — а не увильнешь.

Они уже прогуливались по перрону, билет был куплен, поезд стоял на пути. От локомотива пахло теплой смазкой. Электрическая ночь жила рабочей жизнью. Издалека слышались гудки, змеились по рельсам разноцветные огни фонарей и светофоров. Здесь словно открывалась отдушина в мир больших пространств, и ночной ветер, врываясь сквозь нее, приносил тревожные смутные запахи, подхватывая обрывки странного, случайного разговора — сразу ни более ни менее как о смысле жизни, истине и бессмертии — вот уж верно, давно было замечено: о чем еще начинают толковать, едва сойдясь, два российских умника? Антона самого озадачивало, что всплеск получался чуть не всерьез. Он все-таки псих, — подумалось уже определенной. — Зануда, способный среди ночи таскаться по улицам с первым встречным (которому, допустим, и дал десятку — но ведь не более того) и, задыхаясь, оспаривать его необязательные экспромты, объяснять про своих родственников. Как все же было кстати, что сейчас они расстанутся и отлетит это славное, но уже утомительное напряжение. Может, истина вообще не в доводах, а в состоянии души, — примирительно заметил он. — Если человеку хорошо, зачем его опровергать? Наша мерка и вкус только кажутся нам объективными и годными для всех. И тут, под самый конец, уже опавший было огонек спора лизнул еще одну пустяковую щепочку — перекинулся на искусство. Если непритязательная мелодрама или душещипательный романс у кого-то вызывают искренние слезы, пробуждают сострадание, жалость, добрые чувства? — говорил Лизавин. — Какая-нибудь высокая философия или симфония не пробуждают, проходят мимо, а это — говорит сердцу? Что еще нужно?.. Поезд вот-вот должен был уже тронуться, разговор убыстрялся в аллегро, виво, затем престо, Сиверс спешил возразить, что слезы тоже бывают разные, как и чувства, как и глубина жизни, иные трогательные слезы ничуть не мешают тут же пойти и перерезать чью-нибудь глотку, — однако и Ли-

завин успел ответить: любовь к высокой музыке тоже не гарантирует и не мешает... читали мы про некоторых ценителей Баха. Признавать только высокое — может, и правильно, с точки зрения вечности... — А есть ли другая правота? — усмехался Максим. — Есть, — уверил его Лизавин... — тут вагон мягко двинулся, Антон вскочил на ступеньку, очень довольный, что последнее слово осталось за ним; он махал рукой и опять кричал про десятку, которую завтра же вышлет...

Но странное дело, едва он устроился на своей полке, не сомневаясь, что от усталости тотчас заснет, как ему стало казаться, что самого убедительного он выговорить не успел, и вместо сна стали приходиться все новые мысли и доводы. Досадней всего было само это чувство беспокойства: о чем и с кем спор? Вместо всех объяснений стоило бы напоследок рассказать ему один сюжет из Милашевича — жаль, не вспомнил его к месту.

Это был забавный рассказ (возможно, не лишенный автобиографической подкладки) про некоего провинциального стихотворца. Зато в городке этом, у себя, он не просто почитался — он был выразителем и символом его души, летописцем его событий. Его стихи печатались в уездном альманахе, переписывались в альбомы, изучались на школьных уроках. А главное, его душевный настрой, тип мышления, система образов сказывались на окраске жизни и характере городка, где даже в очереди за керосином ссорились с тем же комичным пафосом, где даже в любви объяснялись словами его стихов. Трудно сказать, говорил рассказчик, повлиял ли так поэт на сограждан или в нем воплотился и выявился некий дух городка. А может, произошло просто совпадение этого самого душевного настроения, определяемое географическими условиями, климатом, историческими традициями — чем угодно, но только город нашел своего поэта, а поэт — свой город. И если бы такого города не существовало, следовало бы его создать для близких по духу людей, — так восклицал рассказчик, позволяя себе по этому поводу вольную фантазию на тему соответствия и гармонии. Если бы читающие граждане, фантазировал он, могли расселяться повсеместно вот так, по принципу своих литературных вкусов и склонностей — а значит, в какой-то мере согласно своим представлениям о прекрасном, об истине и счастье, — как безболезненно и гармонично устроилась бы жизнь! В каждом маленьком населенном пункте почитался бы удовлетворяющий всех гений, лауреат местных премий — как некий предок-тотем. И это обеспечивало бы взаимопонимание, единство культуры, при котором вопросы житейские и хозяйственные разрешались бы куда безболезненней, почти между прочим.

А что? — усмехался иногда Антон этой благодушной юмористической утопии. — Смех смехом, но в этом, может, одна из проблем человеческого общежития. Можно же стать первым писателем народа в две-три сотни человек? основателем письменности и литературы? Для них ты будешь родо-начальным и высшим талантом. Все, что ты напишешь о них и для них, будет им по-своему ближе, чем любые мировые шедевры...

Антон улыбался; на верхней баюкающей полке эти мысли действовали особенно благотворно; наконец он готов был заснуть.

Увы, как раз во сне к нему вновь вернулось напряжение. Он все продолжал с кем-то спорить, размахивая портфелем, и ходы его мысли были блистатель-

ны. Размахавшись, он едва не натворил беды, проснулся от чувства, что вот-вот полетит, — и уже перевешивался с края полки; разумеется, все блистательные аргументы испарились безвозвратно. Осталось только чувство невнятной сосущей тревоги. Приехав домой, он вечером взял в руки свое золотое паркеровское перо, а также тетрадь, куда с некоторых пор вносились заметки, наброски и размышления. Эту роскошную тетрадь с золотым тиснением «Machinexpert» на пластиковом переплете ему подарили к прошлому дню рождения. Великолепная бумага ее располагала писать для вечности, только самое существенное, а иностранные рубрики и календари соблазняли примерять, как прозвучала бы нечаянская тематика в масштабе международном. В таком соблазне мысли Антон Андреич, впрочем, сейчас уловил противоречие.

«Представьте себе человека (не меня), — осторожно приступил он, — которого природа наделила характером не слишком ярким, далеким от крайностей темпераментом, здоровым рассудком и тягой к золотой середине. (То есть как бы ты ни иронизировал над идеей середины, в душе ты считаешь ее золотой.) Так что ж, если вдобавок у него достаточно ума, чтобы осознать и оценить свою ограниченность, — посмеяться над собой? попытаться выпрыгнуть из себя, из кожи? погнаться за чьей-то иной истиной? за чьей-то головной болью? Или, осознав, стать выразителем той силы, среды, уровня, которые произвели его на свет? Может, он для того поставлен в это назначенное ему место, чтобы осмыслить его изнутри, как никому другому не дано. У каждого свое, и счастлив тот, кто умеет не стыдиться этого и не гордиться».

Зачем я должен сбривать бороду, — подумал он вдруг, отвлекаясь от темы, — если мне не нравится мой подбородок? При чем тут прятаться или придуряться? Опять же зимой греет. Пусть, если желает, сам отрастит хоть усы, чтоб не дурить мозги своим видом... Но записывать этого, конечно, не стал, а продолжил литературную мысль: «Если же ты сумел через свое крохотное зернышко мироздания уловить что-то в самом мироздании, ты станешь кем-то и для других — так гений национальный, чей-то особо, становится гением мировым».

У тебя все же не сходятся концы с концами, — остановила разбег его золотого пера внутренняя честность. — На такой скромной канве — и вдруг мировая гениальность! — А что? — сказал Лизавин. — Да ничего. Со скромностью, видать, не так просто. Одно дело скромность перед людьми. Или перед Господом Богом. А другое дело перед самим собой. Перед собой мы в иных случаях не имеем права быть скромными. Робящий считать значительными свои мысли рискует остаться при робких мыслях. — Ну, это как сказать: робких! — раззадорился Лизавин и продолжал: — Порой мне кажется, я смог бы осилить все, что захочу. Вопрос только в том, что я способен захотеть.

Вот эти слова подчеркни жирной чертой и поставь восклицание на полях, — ухмыльнулась внутренняя честность. — И еще какое-нибудь нотабене. Ты сам не представляешь, что написал. — Как знать, может, и представляю, — съязвил Антон Андреич. — А, то есть все-таки претендуешь? Уточним, о чем тогда твоя забота? О высоком искусстве? О совершенствовании души? Или, прошу прощения, о счастье? — Обо всем вместе, — подумав, ответил своей внутренней

честности Лизавин. — Может, как раз искусство способно дать одной жизни и полноту и счастье. Может, в этом его важная суть. — Ах вот оно что, — догадалась внутренняя честность, и голос ее показался Антону похожим на хмыканье занудливого москвича. — Ты не так, оказывается, прост. Ты хочешь устроиться хитрее всех? одновременно в разных измерениях? избежать напряжения, страха, зависти, даже тяги к приключениям — и вместе с тем равнодушия, скуки? ускользнуть от извечных человеческих противоречий? Хочешь быть одновременно и художником и бургером. — А почему бы нет? — усмехнулся он — и внутренняя честность сконфуженно примолкла перед такой простотой.

«В конце концов, где происходит действие «Братьев Карамазовых»? — осмелев, приписал Лизавин. — В каком-то Скотопригоньевске. И о чем, казалось бы, этот роман? О любовном соперничестве отца и сына, еще о нескольких привходящих интригах. Но при этом о жизни, о смерти и бессмертии, о свободе и судьбе»...

Тут ему послышалось, будто кто-то фыркает в ладошку: внутренняя честность оправлялась от конфуза. И Достоевского сюда же, — послышался знакомый кашелек. — А что? — Нет, это опять к теме скромности. То есть ты надеешься что-то понять в современной и вечной жизни со своего пяточка, со своих, можно сказать, задворков? — Допустим, с пяточка, допустим, с задворков, — решил не сдаваться Лизавин. — Если уж на то пошло, каждый знает лишь крошечный уголок этого самого мироздания. Одни навидались и испытали больше, другие меньше. Но в сравнении с тем, чего они не видели и не испытали, разница микроскопически, бесконечно мала. Дело не в месте, не в количестве, не в пространстве познанного.

А в чем же? — заинтересовалась внутренняя честность. Антон Лизавин помедлил с ответом. Он хотел было пояснить сколько — рассказом про читанный где-то научный опыт. Опыт этот доказывал, что полноценный живой организм, лягушку например, можно вырастить из клетки, взятой с любого участка тела. С любого, даже с кожи; все равно там содержится вся информация о целом. Почему-то его радовала мысль об этом открытии ученых, казалось, что оно имеет отношение к нему. Но, возможно, он тут что-то неточно понял...

Вот, — пришло ему взамен другое, — каждый строит свой мир со своей точки отсчета — как любую мелодию можно выстроить, начав с любой ноты. Разными будут лишь тональности, но внутренние, относительные соответствия звуков внутри каждой — равноценны. Если угодно, счастливая взаимосвязь людей — нечто вроде хорошо темперированного клавира...

Однако в строгости своих музыкальных познаний кандидат наук опять же не был убежден и этой дерзкой гармонической формулы записывать также не стал.

Золотое паркеровское перо застыло над бумагой, как курица перед клевком, потеряв из виду зернышко. Все дело в сравнении, думал Антон Андрейч. Мальчишкой он тренировался в беге на футбольном поле в Нечайске. Он приходил туда один и бежал от ворот — сто метров, расстояние он знал. Но вот секундомера у него не было, и он по домашним ходикам приучил себя точно от-

считывать секунды в уме. Ему казалось, что очень точно. Он бежал от ворот до ворот и считал про себя секунды, с каждым днем преодолевая свою стометровку все быстрее: за тринадцать секунд, двенадцать, одиннадцать. И вот однажды он уложился в десять секунд — выше мирового рекорда, и, счастливый, повалился на траву за футбольными воротами без сетки, глядел, как над его лицом поворачивается небо вместе с облаками. Ему было десять лет. Кто мог его опровергнуть? Кто мог назвать истинными другие секунды? Кто-то, смотревший на него с высот, отмеривавший время по своему секундомеру? Ему представился этот абсолютный судья, вообразивший себя объективным. Антон показал ему язык и повернулся лицом в траву, в резные листья клевера и пахучей ромашки, в зеленовато-желтые пупочки, без белых лепестков для гаданья, в душистые величавые заросли, где ползали насекомые, исполненные сознания значительности своей жизни...

Всего этого он, впрочем, тоже не записал, о чем будущие его читатели могут, если угодно, пожалеть. Подслушай кто-нибудь со стороны все странные мысли, которые возбудила в Антоне Лизавине та случайная встреча, он мог бы вообразить, что она смутила его всегдашнюю простую ясность. Может, не в самой встрече было дело, даже не в разговоре — подумаешь, вцепился на улице умник! — а вот пошли пузыри, как от камня, упавшего в ил. Несмотря на возраст, Лизавину все еще по-юношески казалось: ему недостает только времени и уединения, чтобы схватить какую-то главную суть. Ему еще только предстояло понять, что одинокое размышление может быть плодотворно лишь для ума установившегося, сильного, способного вести диалог уже с безликим, высшим собеседником — но непременно диалог, ибо напряжение возникает только между полюсами и искры высекаются камнем о камень. Понадобился некоторый срок, чтобы заглушить это беспокойство, с чем Антон Андреевич при своем уме и счастливом характере, как мы уже могли судить, справился. И способствовала тому еще одна московская встреча.

Дело в том, что сразу по возвращении у Лизавина снова наметилась командировка в столицу. Он даже денег сперва решил не отсылать, чтобы оставить удобный повод для встречи с московским умником, и заготавливал впрок ответы ему, как пацаны заготавливают перед сражением снежки. Поездка, однако, откладывалась с недели на неделю, Антон с несвойственной ему нервностью юмористически воображал, как поминает его Сиверс (подозревая, впрочем, что тот и думать о нем забыл); во всем этом было что-то от вздернутости влюбленного с первого взгляда. Наконец он все-таки отослал злополучную десятку, и тут же, как в насмешку, решился вопрос с командировкой.

В Москве дела опять закрутили Антона, и лишь в вечер перед самым отъездом он сумел разыскать дом Сиверса — старый дом недалеко от центра, из двух случайных половин: кентавр с неприглядным кирпичным крупом и благородным, но, впрочем, тоже не слишком приглядным лицом. Фасад когда-то гордился дворянской охрой, белизной пилястров между окон, вызывавших мысль о воротничках или манжетах у пожилого, но не забывающего следить за собой человека. Теперь все обшарпалось без ремонта, дом словно бы потерял поверхностное тщеславие, замер в тесноте асфальтового переулка, среди вознес-

шихся галантерейно-хамоватых недорослей, точно философ, застигнутый среди уличной толчеи внезапной, ни с чем не сравнимой мыслью — нахохлившись и приподняв потертый, в перхоти, воротник. Потом Антону казалось, что уже при виде этого жилья он что-то понял наперед — например, догадался, что Максима дома не застанет. Дверь открыла женщина с милостивым, заострявшимся к подбородку лицом; светлая челка спускалась на лоб. У ног ее увивались, постанывая от нежности, две бестолковые дворняжки, черная и белая. Услышав имя Лизавина, она улыбнулась, пригласила подождать — как будто знала о нем что-то близкое. Звали ее Аня, обручального кольца на пальце у нее не было. Антон просидел с ней на кухне добрый час, сразу расположил ее советом сбрызнуть треску лимонным соком — кулинария была его всегдашним козырем в разговорах с женщинами; здесь приоткрывалась некая женственность его собственной натуры, и это вызывало доверие, порой до обидного бескорыстное, какое бывает с подружками. Аня посетовала гостю на собак, которые путались под ногами, мешая ей своей нежностью: «Вот Максим то и дело приводит каких-нибудь бездомных псов. А кормить и обихаживать их должна я. Он, видите ли, все гуляет. У него удивительная способность любую встречу превращать в отношения... — И тут же, видно спохватясь, что может обидеть гостя намеком, поспешила добавить: — Только вы не думайте, я не имею в виду... Меня ведь тоже... Я ведь сама сюда попала так...»

А, вот оно что!.. Как понятен был кандидату наук этот усмехающийся над собой голосок! Как просто мог сопоставить его быстрый ум поздние приходы Сиверса и оброненные им слова: если б меня никто не ждал! эту грустную, исполненную жалостливого превосходства уверенность женщины, что он все равно вернется, это жилье, где полотенца пахли гостиницей, где потеки и трещины замазаны были неубедительно, а то и просто завешаны картинами (очень женские пейзажи и натюрморты, писанные маслом); на каждой, в глубине, в уголке, в зеркале, в настенном портрете, один раз даже на отражении в вазе присутствовало тонкое лицо с преувеличенными глазами и знакомым изгибом рта... Все-таки хорошо, что Лизавина опять ждал поезд и можно было предупредить уже набухавшую, ненужную, нервную откровенность. Антон по природе предпочитал кое-что довообразить. Весь ночной разговор с Максимом высветился вдруг в житейской полноте и конкретности. В доводах москвича услышалась теперь не ирония, не наступательная уверенность, а вопрос. Потому что этот человек с недостоверной усмешкой и печальным, как у клоуна, взглядом был явно не так уж тверд в жизни, повседневная опора его была скудна, он не умел с ней ничего поделаться, не умел даже убежать, как это бывает с людьми, запутавшимися в высоких отвлеченностях. Да, может, он не просто с интересом, а с сомнением, даже надеждой вслушивался в разглагольствования простака провинциала...

Возможно, Антон Андреевич слишком увлекся своими домыслами, но что-то в них было достоверное. Вернувшись домой, Лизавин не просто записал их в свою тетрадь с золотым тиснением, но впервые попробовал набросать нечто даже вроде сюжета о случайной встрече, о столкновении самочувствий, об усмешке, от которой рад бы избавиться, да не тобой она запечатлена, о томле-

нии духа, тоске и бегстве. Из литературного озорства — и чтоб зря не тратиться на выдумку — он дал одному герою собственное имя, а другому — имя москвича. Развивая сюжет, он слегка пофантазировал о том, как этот чудака с преждевременными залысинами потянулся от собственных проблем и неприкаянности к заинтересовавшему его провинциалу, к его рецептам доступного счастья и приезжает к нему. Дальше фантазия застопорилась, варианты разыгрывались то неправдоподобные, то с опасной оскоминой. А потом взяла свое нагрузка, трудный учебный год — дел хватало. Заветная тетрадь мирно зимовала в ящике, Антон о ней не вспоминал.

Однако теперь можно себе представить не просто удивление, но некоторый суеверный трепет, этакий, скажем, холодок по спине, который почувствовал Антон Лизавин, увидев наяву в своем доме этого самого гостя, назвать которого совсем уж непредвиденным было с нашей стороны, пожалуй, неточно.

#### 4

Все мы нередко предпочитаем довообразить человека, нежели проникнуть достоверно в его жизнь и судьбу. В этом есть нечто от склонности щадить себя. Воображение ведь часто пускается в ход от робости перед реальной жизнью; оно к меньшему обязывает. Но впечатление о любом человеке вообще строится на перекрестке узнанного и домысла, меняются со временем лишь соотношения, и, как в поэзии, тут многое зависит от способности, если угодно, таланта.

Замечательней всего, что Антон Андреевич не ошибся даже в некоторых подробностях относительно Максима Сиверса, и тот, кто слишком поддался его иронической самооценке, пусть возьмет себе это на заметку. Потом он сам удивлялся верности иных своих догадок. Но попроси его кто-нибудь описать этого человека по четким пунктам анкеты наподобие собственной, он бы стал спотыкаться едва ли не в каждой графе — начиная с рода занятий. На исходе третьего десятка Сиверс выглядел межеумком — недоучившийся студент какого-то (и не важно какого) факультета, ни в чем не определившийся, не осуществившийся, нигде не свой: вроде бы интеллигент по образованности и по сути, но и образование и интеллигентность были какими-то несерьезными, не подтвержденными ни профессией, ни дипломом, ни результатом труда; вроде бы с многообразным опытом, даже с мозолями, но и мозоли и опыт были тоже какими-то неосновательными. Не дурак, что говорить, не дурак. Антон сторяча, за неимением более определенного слова, даже чуть не назвал его мыслителем; но термин этот, по нашим временам, не обозначая профессии, звучит скорей комично. (Бродячий мыслитель! Бездельник с претензиями!) В другой раз тот же Антон и тоже сторяча назвал его нелепым несчастным клоуном — но это и вовсе оставим на его совести. Насчет «психа» было произнесено раньше, и при более близком знакомстве это впечатление совсем не исчезло; однако интеллигентность не позволяла Антону Андреичу отделяться и этим словцом от всякой странности и непонятности. Каждый может считать за норму именно себя — но каковы мы с чьей-то иной точки отсчета? Ну вот... Если можно так выразиться, в сегодняшнем пространстве Лизавин был куда устойчивей и опре-

деленней, хотя за спиной у него не было ничего, что можно бы назвать историей, — кроме обиходных строк автобиографии. Вот тут про москвича можно бы рассказать побольше — да тоже не бог весть что.

Отец Максима Сиверса был фигурой одиозной среди московских книжников. Никто достоверно не знал цены сокровищ, хранившихся на полках и в запертых шкафах его комнаты с зарешеченным, точно в тюрьме, окном. Как всегда бывает в таких случаях, предположения ходили самые фантастические, но он не давал возможности ни подтвердить их, ни опровергнуть, поддерживая при надобности отношения с братьями по страсти (или по сумасшествию) лишь, так сказать, на их территории. Жил он после войны одиноко, жена его, мать Максима, умерла в самом начале эвакуации, оставив на чужих руках новорожденного сына, и ригористка Ариадна Захаровна, известная нам Максимова тетка, никогда не могла простить старику, что он отпустил в такой путь ее беременную сестру одну, без поддержки и опеки, а сам неведомыми средствами зацепился в Москве, чтобы стеречь от войны свою библиотеку. Тетка вообще считала, что он сгубил жизнь жены, но в ее неприязни к нему странно сочеталась насмешливая брезгливость с каким-то почтительным чувством дистанции: так можно было относиться к дракону или колдуну, похитившему принцессу, — ибо сестра Ариадны Захаровны поистине была принцесса и околдовать или, если угодно, охмурить, погубить ее мог тоже лишь кто-то незаурядный в своем роде.

Максим впервые увидел отца после войны, лет в пять или шесть. Это уже тогда был совсем старый человек, никак не отождествлявшийся со словом «отец»: маленький, тщедушный, с прозрачной седой бородкой. Вначале он пробовал оставить сына при себе, даже нанял женщину помогать по хозяйству. Но ничего не вышло из этой попытки запоздалой и неумелой нежности. Максим сразу стал отчаянно хворать — с удушливым кашлем, жаром, сыпью до волдырей. Врачи нескоро догадались об аллергии — тогда в ней меньше разбирались. Болезнь быстро проходила за пределами отцовской комнаты; было решено, что ее вызывает книжная пыль, и Ариадна Захаровна, с неожиданным терпением следившая за этим обреченным опытом семейной жизни, окончательно взяла мальчика к себе.

Став постарше, Максим иногда сам навещался к отцу, в комнату-камеру, где пахло кислым стариковским уксусом, одиночеством и тоской. Во всяком случае, считалось, что он часто к нему ездит. Жизнь между двумя домами давала возможность безнадзорно слоняться по городу с приятелями. К двенадцати годам он умел курить, не испытывая головокружения, и устранять табачный дух мятными леденцами, прорываться без билета в кино, недурно играть в расшибец и чеканку и дважды, не назвав своего имени, удирал из детской комнаты милиции, куда его приводили после неудачных уличных столкновений. При этом он без особых усилий ухитрялся успевать в школе, а дома тетка учила его вдобавок сразу двум языкам.

— Я, знаешь, из породы невольных отличников, — заметил он как-то Антону. — Таких в компании часто бьют. Хотя я никогда не выставлялся. Меня даже ценили как энциклопедию.



Драться ему приходилось действительно часто, но неизвестно даже из-за чего. Какое-то он распространял вокруг себя напряжение, утомительное для других беспокойство (сам не видя в зеркало своей невольной гримасы) и в любом дурацком споре не упускал случая остаться в меньшинстве или одиночестве. Меньше всего имел значение повод. Считалось, что он вызывает раздражение своими слишком яркими для мальчишки, будто крашеными губами, и за недостатком аргументов его язвили кличкой Красногубый.

Эта вольная жизнь пришла к концу, когда открылось, что Максим тащит и продает книги с отцовских полок. Тот вряд ли когда-нибудь сам заметил бы ущерб: книги брались наугад из второго ряда, оставшиеся тотчас на глазах размножались почкованием, восстанавливая число и заполняя щель. Но случилось так, что одна из них кружным путем вернулась к отцу. Заглавия ее Максим даже не осознал, продавая, но навсегда запомнил четкую гравюру на белой бумажной обложке, изображавшую череп в нимбе, — и взгляд отца; он стоял перед ним с книгой в руке, маленький, в детских сандалиях, смотрел на него уже снизу вверх ясными нестарческими глазами и не говорил ничего, как будто приготовленные праведные слова заклинило в горле. Увидел ли он что-то в другом в лице сынка с немальчишескими, порочными на остром лице губами, с руками, которые по локоть обметала жестокая сыпь, точно улика воровства? Не страх, а тоскливую дурноту зарождал в Максиме этот взгляд, этот запах прокисшего уксуса, запах старости и одиночества. С тех пор навсегда для него тоска будет пахнуть уксусом (хотя случалось и ошибаться и запах обычного уксуса он принимал за тоску). Больше Максим в этой комнате не появлялся. Он знал отца меньше, чем иных посторонних, не мог вспомнить ни одного существенного разговора с ним, но очень скоро начал подозревать, что связан с ним глубже, нежели казалось. Этот человек все же передал ему что-то: ответ ли тоски во взгляде? догадку ли, что эта тоска и страсть, пусть даже нелепая и безнадежная, — быть может, лучшее и главное, что есть в нас: отними их — что останется? Или, может, какую-то поправку к теткиным представлениям о чести, которая требует жить, трепыхаться, проталкиваться куда-то дальше, даже когда не видишь в этом ни радости, ни смысла, — раз уж подписан от рождения некий договор? И еще — странную, словно в насмешку обращенную аллергию...

Это было действительно черт знает что! Проклятая болезнь, видно, прицепилась к нему на всю жизнь, она становилась все причудливей и неуловимей. Причина ускользала из рук. Установить то, что медики называют аллергеном, так и не удалось — эти аллергены казались многоликими и, похоже, разнообразились со временем. Он не знал, с какой стороны ему ждать опасности. К старшим классам школы у него выявилась, например, совсем фантастическая аллергия на некоторые слова. Это были слова безобиднейшие, заурядные, из тех, что звучат на собраниях, — вроде «повестки дня» или «слово предоставляется». Но стоило им возникнуть в воздухе, как у него открывался полный набор симптомов: от кашля и насморка до зуда и сыпи. Если б еще порознь, иной разговор: сыпь, скажем, дело личное и можно ее втихомолку терпеть; с другой стороны, отдельно кашель или чих, неуместно будоражившие зал, можно бы счесть за подозрительную симуляцию. (Да учтите неудачный покррой рта да проклятую

родинку. Кстати — и к сведению Антона, — он усы пробовал отрастить, но даже этому воспрепятствовал насморк.) Когда по состоянию здоровья Максим, к зависти иных, от посещения собраний был освобожден, кое-кто, говорят, даже пытался эти отдельные признаки симулировать. Да ведь понарошке такое не выйдет — и не выдержать.

Смех смехом, но Максиму бывало не до веселья. Его природа играла с ним какую-то игру, направления и смысла которой он еще не улавливал, — да, может, эти направления и смысл пока уточнялись самой природой? Болезнь обострялась внезапно, без явного повода, все заметней вмешивалась в его жизнь, делала невозможными иные занятия, разговоры, поздней даже учебу на биологическом факультете университета (вот, впрочем, биологическом). Когда, казалось, все было в полном порядке, ему становилось вдруг трудно дышать, и наоборот, запах напряжения, дрожь опасности приносили ему облегчение. Но почему ему становилось не по себе от уклончивой теткиной памяти? и почему ему дышалось сполна, когда он навещал ее, умирающую, в больнице? Почему одолевал его насморк, когда он возвращался к Ане, к ее пейзажам и натюрмортам, полезным для здоровья, как салат, и безобидным, как рыбная ловля, к холстам, грунтованным с расчетом на вечность, и краскам, сочетания которых не меркли от времени?..

Да, вот еще Аня. Тут кандидат наук и впрямь многое угадал. Сиверс был из числа людей, в жизни которых несоразмерную роль играют всяческие абстракции. Когда появился, например, транспорт без кондуктора, ему, для которого всегда делом школярской и студенческой чести было проскакивать куда угодно зайцем, оказалось невозможно ездить без билета, обманывая чье-то безликое доверие. Если случалось оставаться без копейки (а еще как случалось!), он предпочитал идти пешком, чтобы не чувствовать себя подлецом. У подобных людей (и кто бы предположил при такой усмешке?) пустяковому шагу аккомпанирует порой внутренний гром и молния; возможно, это придает жизни своеобразный интерес, но никак ее не облегчает. Впрочем, у всех нас множество драм разыгрывается не в реальных отношениях, а в мнительных наших душах — но разве это не самые подлинные драмы? У Сиверса же кашель и сыпь подтверждали их куда как вещественно.

Аню он встретил как-то летом на улице, она приехала откуда-то с Алтая поступать в художественное училище — налегке, с единственным сиротским чемоданчиком, где едва уместились несколько альбомов с рисунками для показа да набор фотографических видов Москвы: она собирала их влюбленно много лет, как другие покупают открытки с киноактрисами. Возвращаться ей было не к кому и не на что, и никого не было в Москве. От голода она была такой невесомой, что не ходила, а парила над разогретыми тротуарами, принимая головокружение за счастье и удерживаясь на земле только тяжестью своих альбомов. Тогда еще была жива Ариадна Захаровна, началось все с Простого порыва приютить... Ну что говорить, был порыв, вполне благородный, взаимный, искренний, потом остались совесть, вина, долг — когда она шла с ним рядом, держа под локоть обеими руками и заглядывая в глаза, так что трудно было не спотыкаться... Любой справился бы с этим проще, тем более что детей у них не было.

Но Аня держала его в плену своей самоотверженности, заранее ни на что не претендуя, ни на что не жалуясь, все прощая, заменив зеркала в доме его портретами. И может, зачем-то ему это было нужно — не нам судить. Лизавин был прав: Максим пробовал убежать. Когда-то, поторопившись уйти из университета, он обосновывал это необходимостью зарабатывать на двоих. Его тут же призывали в армию — и не мог же он от всей души сказать, что забыл про такую возможность? Перед самым отъездом он расписался с Аней, чтобы узаконить ее права на жилье. Однако трехлетняя эта отлучка была уже подозрительно схожа с побегом. И сколько их было потом! Подобно многим, он мог бы сказать, от чего бежит, но что ищет — вряд ли.

Он служил санитаром в «Скорой помощи», подрабатывал переводами, ходил рабочим с геологами и археологами, несколько раз подряжался тянуть линии электропередач, и заработанного за лето хватало потом едва ли не на весь остальной год. Несмотря на болезнь, он не был физически слаб и в отъездах чувствовал себя лучше, чем дома. Одно время казалось, что помогает перемена климата, но стоило ему задержаться где-то подольше, как возвращалось то же. Порой он напоминал того беднягу, что, пробуя утихомирить колики, ищет безболезненной позы — хоть на четвереньках; но долго ли так выдержишь? Он напоминал всех тех, что ищут внешней свободы, опутанные миллионом зависимостей внутренних. Легче всего ему было в дороге, между небом и землей. Э, что говорить, это многим ведомо: страсть к отрыву, к преодолению земной тяги — может, чем-то родственная мечте о бессмертии...

Да, вот еще вопрос: не пробовал ли он писать, подобно Лизавину? Это сразу многое бы объяснило, поставило бы на места: и профессии не надо, и уже не простой бездельник с претензиями, а собиратель жизненного материала. Впоследствии у Антона возник повод подумать о нем именно так, во всяком случае, заподозрить литературные способности — но не более того. Чего-либо положительного Сиверс и тут предложить не мог. Какие-то зубчики колес не зацеплялись, понимание не соответствовало умению.

Зачем он тогда прикатил в Нечайск? Без определенных планов. Попутно, что ли, на пробу, на огонек двух знакомых адресов — бродячий извлекатель жизненного корня с фатальной аллергией и вздорной родинкой, к которой никто не успевал привыкнуть и которую каждый толковал на свой лад, чудак, ненадолго врывающийся в жизнь встречаемых, но всюду временный (а может, слава богу, что временный). Как ни посмеивайся над ним, он вносит в наше ироническое повествование неуместную напряженную нотку. Ни к чему бы это пока; хватит о нем. Да и негоже нам знать о нем сразу больше Лизавина — иначе нам не оценить того чувства неясной, беспричинной тревоги, овладевшей Антоном, когда этот человек материализовался, можно сказать, в вечер его рождения за праздничным столом.

## 5

Откуда тревога эта взялась? Она гудела почти физически, как фон застольного, уже хмельного разговора. До приезда виновника торжества было, видно,

порядком выпито, и Антону пришлось догонять, пока он перестал воспринимать все неуместно трезвым, каким-то не своим взглядом. Может, дело было просто в этом, да в суеверном пустом совпадении, да в путаном воспоминании. Запах ветреных холодных пространств, прорвавшийся однажды в вокзальную отдушину, вновь беспокойно коснулся ноздрей. Он присутствовал в доме, не смешиваясь с привычными запахами кухонного керосина, клеенки, сырости, как, не смешиваясь, плавали в воздухе прожилки сладкого печного тепла. Он этого дыхания потускнело зеленоватое старое зеркало, в никелированном отблеске кроватных шишечек проступило что-то от трогательной пенсионерской бодрости. Сами запахи в доме как будто бы постарели. И что-то щемящее, незащищенное виделось в щуплой фигурке отца. Он сидел за столом в своей неизменной полосатой рубашке при черном галстуке, лизавинские черты, у Антона прикрытые бородой, здесь были выставлены со всем простодушием, обостренные и отчеканенные возрастом: маленькое морщинистое лицо, уменьшенный подбородок, красный от выпивки носик, милый, в петушиной коже кадык с порезами от бритья.

— Все, — объяснял он сыну, ладонью категорически пристукивая по столу, — Максим Владимыч будет жить у нас. Мы договорились. Все! И работать устроится здесь в школе, преподавать английский. Или французский? Да, Максим? Решено, я все устрою. Диплом — ерунда, у нас второй год хоть какого ищут. А тут — свободно владеет. Решено!

И подливал москвичу из оплетенной бутылки фирменной домашней вишневки — тот опрокидывал ее, увы, разом, не вникая. Он кивал, соглашаясь, как будто застенчивый перед стариками; любопытно его было видеть таким. Мама, прихрамывая, хлопотала вокруг гостя, тронутая его худобой, подносила из кухни ржаных шанежек с картошкой — в Москве небось таких не делают, да и картошка не та.

— Вы расчувствуйте нюанс нашей картошки, — вдохновлялся отец. — Если картошка, я вам скажу, растет в жирной земле, она сама выходит жирная. Это, конечно, грубо говоря, я не химик. Это химик или биолог может объяснить, какой процесс происходит в картошке, что она становится именно такой. Есть один ученый, я его читал, крупнейший специалист по картошке. Не помню фамилию. Ну, в общем, Циолковский по картошке, он это все описал. А у нас картошка водянистая, и в этой воде самый нюанс, самая сладость...

Поближе к Максиму был пододвинут магазинный, местного производства торт с надписью брусничным вареньем по крему: «Восход — Мир — Москва», и Антон с той же дурацкой мнительностью ловил на губах москвича уголок усмешки; понять ли ему, какая это гордость — в кои веки торт в нечайском магазине? На стене, против Сиверса, между ходиками, по которым Антон когда-то учился считать секунды, и крымской подушечкой для иголок (голубое бархатное сердечко, окаймленное ракушечным узором), висела в застекленной рамке вырезка из областной газеты — первая публикация Антона: отец специально выставил ее как в музее, чтобы демонстрировать гостям. Наверняка уже и москвичу похвастался. И, конечно, рассказал про каменную бабу — знаменитую находку своего краеведческого музея. Эту грубо тесанную фигуру серого камня на-

подобие скифских Андрей Поликарпыч обнаружил в размытом овраге прямо за своим огородом и считал ее доказательством собственной теории о том, что жившие когда-то здесь языческие племена имели не только деревянную скульптуру, как принято было считать до сих пор. Уже приезжали смотреть эту бабу специалисты из Москвы, промямлили что-то неопределенное, обещали вернуться для более тщательного обследования. Кто-то в Нечайске пошутил, что Поликарпыч из патриотизма сам изготовил для города достопримечательность; шутка была беззлобная, но Антона каждое новое упоминание о бабе тревожно задевало. Он слишком знал увлекающийся характер отца, который даже уроки свои превращал в рассказы о собственных приключениях. Казалось, он всю жизнь воспринимал сквозь радужную дымку своих историй. Во многих он вселил тоску по странам, где нас нет, но сам не тосковал — ему с избытком хватало того, что он имел при себе. Что ему еще было нужно, если в шестьдесят лет ему снились пальмы, попугаи и джунгли, сочащиеся оранжевым светом, и щеки его были опалены дыханием прекрасных высот? Он больше чем верил, что сам бывал в местах, о которых рассказывал, — хотя успел забыть с годами, как туда попал, в страде странствий равномерно растекаясь душой по всему шару Земли и нигде не задерживаясь особо. Весь житейский опыт, все позднейшие сведения не отменяли этой юношеской основы, а накладывались на нее. Он предпочитал нынешним книгам о путешествиях старые — не с фотографиями, а с добросовестными рисунками натуралистов, где сочетались правда жизни, искусство и поэтическое мастерство знатока. Люди порой не любят фотографий мест, где им было хорошо. Он и телевизора не завел, но географические передачи смотрел иногда в школе, с ревнивым чувством очевидца проверяя их на истинность, безупречно чувствуя инсценировку, монтаж и комбинированную подделку. Потому что ни телевидение, ни даже цветное кино не могли подтвердить того, что знал он, — подлинных запахов этих мест, желтого духа тропиков, ароматов дегтя на просоленных пристанях, душной листвы и оскомины мороза: подделка пахла не тем, и наостренный нюх старика улавливал несоответствие. Хотя, насколько Антон знал, единственное дальнейшее путешествие — через всю Европу — отец совершил в войну, но именно о своих военных странствиях почему-то избегал распространяться и даже в праздники не надевал медалей. Ах, Антон знал прекрасно своего отца — но как поймет его иначе настроенный, слух, взгляд?

В детстве Антон Андреич любил забавляться цветными стеклами. У него был целый набор — красных, зеленых, синих, бутылочных. Мир сквозь них открывал особые, затаенные свойства: облака с огненных небес выпирали выпукло, тяжело, грозно, в черной листве прятались от солнца ночные страхи, новым смыслом дышали тени и лица светились неведомой прежде красотой. Когда Антон, насытись, обезоруживал услажденный зрачок, первое время все представляло удручающе бесцветным, пресным, будто на него смотрели без юмора и фантазии. Это было уже непривычно, неестественно, как если бы сама роговица глаза от природы была подцвечена, а теперь болезнь или операция обезоружили ее. Попробуй объясни больным с такой поврежденной, неесте-

ственной роговицей, как выглядит все на самом деле. Вы станете посмеиваться друг над другом, и души вашей коснется вот та самая необязательная тревога...

Она почему-то не оставляла и вспоминалась Антону, когда на другое утро они отправились разыскивать армейского приятеля Сиверса. Было солнечно. С высоких мест снег давно облупился, чернота расползалась все просторнее. Но внизу он лежал свежий и яркий, местами в желтых солнышках проступавших навозных подтеков. Некогда втоптанное в него тропинки и лыжни рельефно возвышались над оголяющейся землей, как белые вздутые рубцы на темном теле. Кочки мокрой нежной земли высывались погреться; было в их наслаждении что-то щенячье, ласковое. Вода прикрывала ледок на лужах, он был не толще яичной скорлупы, от прикосновения ногой под ним волновались белые шарики воздуха, как на плотницком ватерпасе. Подтаявшее озеро ослепительно сияло внизу, и черные вороны вышагивали прямо по водной глади.

Путь их лежал вверх от озера мимо базара. Лизавин зачем-то ревниво оглябал стороной всегда такие привлекательные для него ряды, толкучку, где продавалось не только тряпье, но и старые инструменты, иголки, даже ржавые шурупы — как ни странно, все-таки находившие своего покупателя. Совсем уж безнадежные вещи держались в комиссионном магазине, тут же, при базаре; за копейки желающие могли здесь освободить полки от фотопластинок еще довоенного производства, иголок к несуществующим примусам, деталей к никогда не существовавшим приборам; все это лежало под стеклом и на полках, дожидаясь человека, у которого дрогнет сердце при виде такой обреченной стойкости.

На самом краю базара, в фанерном павильончике, за своим агрегатом с пастой из ФРГ и клизмочкой для продувания стержней сидел Раф Рафыч Небезызвестный-Бабаев, восточный человек. Он сидел, дожидаясь клиентов, в некогда роскошном резном кресле с обивкой красного бархата, и птица заботы раскинула над ним свои тяжелые, ватные, свои одеяльные крылья. Хотите новеллу про это кресло — трофейное антикварное кресло, которое Бабаев сдуру успел прихватить из разрушенного немецкого дома перед самой посадкой в теплушку? Ни на что большее ему уже не осталось рук, и когда другие везли из-за границы кто аккордеон, кто швейную машинку, он от Берлина до Москвы прокатил, как король, в этом мягком неудобном кресле, а потом кое-как дотащил его до Нечайска и, застав дом запертым, на нем же присел во дворе дожидаться жены, да так и заснул на своем нелепом трофее с вещмешком на коленях, с медалями и гвардейским значком на груди — вечный неудачник, — пока его не разбудили набежавшие соседи... Ах, в Нечайске на каждом шагу новелла или, если угодно, поэма; но станешь так отвлекаться по сторонам — не скоро доберешься до цели. Хотя есть ли цель у рассказа больше сладости самого повествования? Это пусть спортсмен без оглядки спешит к своей ленточке, не замечая лиц вокруг, — его дело. Пусть алкоголик, если хочет, опрокидывает стаканчики, пренебрегая подробностями, вкусом и самим временем ради того, что кажется ему конечной и единственной целью. Пусть достойный лишь детектива читатель рвется от затянувшейся экспозиции к сюжету — с интригой, выстрелами и любовной развязкой. А может, главный-то сюжет уже вот он, весь тут, в том, что лишь кажется нам экспозицией? Может, он весь в капле, уже подто-

чившей глыбу, в попутной болтовне, в трепетанье ресницы, в перемене теней, в перескоке зеркального зайчика — а мы не заметили. Вот так и живем, торопя Богом данные дни, будто впереди где-то ждет нас более существенный итог, а сюжет — вот он был, проморгали, и не перечитать второй раз. Ладно, до встречи пока, Раф Рафыч. Поболтали по пути вместе с Антоном о том о сем — надо все ж и до Кости Андропова добраться.

Имя это на первый слух показалось Антону смутно знакомым; услышав же его второй раз, да еще с адресом, Лизавин, что называется, хлопнул себя по лбу. Как же ему было не знать Костю! и кто в Нечайске его не знал. Сбила с толку фамилия, Андронов известен был больше по прозвищу: Костя Трубач. Он был когда-то лучшим трубачом здешнего духового оркестра и после армии имел некоторое время привычку дудеть по утрам со своего крыльца, давая побудку. Никого это не возмущало — даже нравилось, ибо вставали в Нечайске по-деревенски рано — по привычке с времен, когда городок дружно выгонял в стадо коров. Женившись, Костя свою трубу забросил вместе со многими холостыми привычками, а прозвище осталось.

Женитьба его позапрошлой осенью вызвала в городке много толков. Во-первых, потому, что женился он не на ком-нибудь, а на дочери покойного Прохора Меньшутина, директора местного Дворца культуры, человека для Нечайска незаурядного. Это был пьянчужка и талантливый, может быть, гениальный сумасброд, всю жизнь носивший в себе какие-то смутные, фантастические идеи. Среди рутинных клубных будней с танцами под радиолу, заезжими лекторами и кино он вдруг в самом деле разражался каким-нибудь невозможным по замаху мероприятием вроде общегородского гуляния с праздником Нептуна на еще мерзлом озере или бала-маскарада с фейерверком. Труднее всего было объяснить, каким образом в эти затеи втягивался чуть не весь Нечайск (включая даже вполне ответственное начальство) — с легким головокружением отдуваясь потом и удивляясь сам себе. Весь облик Меньшутина — облик сизоносого шута с артистической шевелюрой, выбивающейся на затылке из-под фетровой шляпы без полей, его припадающая быстрая походка, его плотная фигура с заложенными за спину руками, в пиджак засаленным воротником — распространял вокруг себя электричество этой заразной нелепости; он создавал Нечайску особую атмосферу, дух, и после внезапной смерти завклубом (его хватил удар под фейерверк бала-маскарада, последнего и самого безумного из его мероприятий) городок почувствовал, что утратил нечто существенное. Это была его легенда, какими бывают местные юродивые, святые или шуты. Отец Лизавина даже хранил в запасниках своего краеведческого музея некоторые из личных вещей Меньшутина: ту самую фетровую шляпу без полей, напоминавшую клобук, трубку в виде головы Мефистофеля и авторучку величиной с сосиску, набирающую чернил сразу на полгода. Андрей Поликарпыч был убежден, что со временем эти экспонаты перейдут из запасников на самое гордое место в экспозиции, рядом с костями доисторического человека, черепками из неолитических раскопок и уже известной нам каменной бабой. О Меньшутине рассказывали множество историй и анекдотов — для них потребовалась бы особая книга, тем более что рассказы эти множились даже после смерти Прохора

Ильича: например, за счет баек о происшествиях, которые случались с приезжими, посидевшими за обычным столиком Меньшутина в здешнем кафе «Озерное». Местные завсегда и за этот угловой столик, над которым до сих пор держался запах меньшутинского «Золотого руна», не садились, как не сядут за музейный экспонат, только оглядывались на него, пропуская лишнюю рюмочку за упокой грешной души Прохора Ильича. А вот проезжие шоферы или командированные, случалось, саживались — и хорошо, если после этого просто нарывались на штраф или полчаса не могли завести мотор (что, впрочем, в других местах объяснялось действием летающих тарелочек). Муж Панковой, например, товаровед местного потребсоюза и известный в городе голубятник, которого, несмотря на солидный возраст, звали, как мальчишку, Гена и которому возвысившаяся до района супруга наконец запретила это неавторитетное баловство, однажды ради куражу нарочно распил сто пятьдесят грамм за угловым столиком — всего сто пятьдесят, но до того докуражился, что поднял бунт против жениного запрета, полез на крышу чинить порванную голубятню да с крыши этой свалился, сломав ребра. Относительно сломанных ребер кое-кто намекал, правда, на тяжелую руку Ларисы Васильевны. Но не о том речь.

Дело было не только в отце невесты. Сама женитьба Кости поразила воображение нечаяцев своей неожиданностью и оказалась связана с обстоятельствами отчасти скандальными. Зоя Меньшутина работала в библиотеке, была девицей тихой, малоприметной, слегка не от мира сего; некоторые считали ее просто чокнутой (что и неудивительно при таком родителе). Видели ее только дома да в библиотеке, никто не заметил, когда Костя начал за ней ухаживать и ухаживал ли вообще, — а уж такой видный парень был у всех на примете. Все произошло как-то сразу, на том же пресловутом бале-маскараде. Представьте себе девушку, которая является в это скопище картонных масок, бумажных колпаков и бесхитростных, самодельной роскоши нарядов — является, как принцесса, в настоящем длинном белом платье, концертном наследстве покойной матери-актрисы; представьте себе занюханый городок, по которому проходит такая принцесса в этаким платье, не подозревая о чокнутости своей, какое производит впечатление. Все, раскрыв глаза (да и рты), обнаружили, что проглядели превращение недавней дурнушки в очень даже прелестную девицу. Остальное разыгралось на виду всего Нечайска. Не успел Костя толком потанцевать с новоявленной звездой бала, как у него объявился соперник, известный в городе забияка Юрка Бешеный; многие были свидетелями их стычки, хотя, оглушенные оркестром, духотой и танцами, не могли ни понять, ни объяснить толком, что произошло. А объяснять потом пришлось следствию, ибо обычная драка, без каких не обходится, как известно, ни одна городская танцулька, имела на сей раз финал трагический: несчастный Костин соперник свалился той туманной ночью в озеро с коварного обрыва, на который местного жителя могло занести только спяну либо сослепу. Хотя выяснилось, что паренек пьян не был, а ослеплен разве что душевными переживаниями, следствие констатировало несчастный случай, и Юру похоронили в один день с Прохором Ильичом Меньшутиним, мозг которого не выдержал переживаний и перенапряжения сумасшедшего праздника.



Словом, целый ворох событий, для Нечайска чрезвычайных; поговорить было о чем. Беднягу Трубача после всего этого будто подменили, он даже улыбаться перестал — от любви или от угрызений совести; во всяком случае, теперь-то его постоянно видели с библиотекаршей. Свадьбу справили, едва выждав приличный срок, невеста была на ней в том же белом концертном платье и материнских туфлях-лодочках. С работы она скоро ушла — Костя вполне мог прокормить жену; жили они, должно быть, счастливо и скоро отодвинулись в тень общего внимания, пока не разнеслась о них по городку новая странная молва.

Если дочка Меньшутина всегда была девицей тихой и молчаливой, то про Костю Трубача, активного общественника, правого края городской футбольной команды и любимца девчат, этого сказать прежде никак было нельзя. Перемену в нем стали замечать не сразу, вначале только зубоскалили при встрече с ним за кружкой пива, верно ли, что он за целый день не слышит от жены ни слова? — это ж надо, как ему повезло! Он отшучивался в том же тоне. Может, им не о чем было говорить; но ведь и говорить не обязательно, если они понимали друг друга без слов, если она угадывала и предупреждала его желания и вопросы. Может, он сам не выдерживал такого молчания, был безответно говорлив, особенно в приливы любви к ней, и сам стыдился своей потребности облекать все в слова, неизбежно неточные и пустые, — так ведь кому это не знакомо? — бормотание взахлеб, не для слуха, слова-пена, сло-ва-пение; его дело говорить, ее — молчать.

Толковали потом, что, когда врач Лев Александрович Дягиль, румянощекий нечайский Айболит, навестил Зою по поводу обыкновенного гриппа и обнаружил, что она не может ответить ему ни слова, то есть попросту потеряла голос, Костя, к стыду своему, затруднился точно вспомнить, когда слышал ее последний раз. Вроде бы дня за три до того, в самом начале болезни, она неизвестно к чему сказала: «Сегодня понедельник», а через полчаса он спросил у нее, какой нынче день, и сообразил, что она уже ответила. (Когда-то Трубач шутя рассказывал подобные случаи — точно они жили в разном времени.) А больше, убей бог, ни слова не мог назвать с уверенностью. Толковали, что внезапную немоту дало осложнение после гриппа, но мнение это было ненаучным. Лев Александрович определил якобы обыкновенную истерическую немоту, *mutismus istericus*, как следствие какого-то нервного потрясения, может, смерти отца (правда, со значительной оттяжкой во времени, но ничего другого он не сумел явно констатировать). Лев Александрович, как всем было известно, вообще придерживался устарелого и немодного нынче взгляда, что все болезни в конечном счете зависят от нервов. От аптекарши знали, что прописаны больной настойка валерианы, триоксазин и элениум, да толку от этого, как говорили, не было.

Во всех этих пересудах с самого начала вообще было что-то непроясненное. Казалось бы, чего проще проверить: зайти по соседству поболтать. И заходили и проверяли, это уж будьте спокойны. Да вот странное дело, удостовериться так чтоб совсем уже единодушно и на сто процентов — не успевали. То ли дом у Трубача был такой увлекательный, что гость забывал о главной цели и

сам становился словоохотлив, то ли Костя умело перехватывал разговор, — Зоя при этом и присутствовала, и кивала, и улыбалась — но не более, а выходило достаточно, и гость, уже на улице, спохватывался в прежнем сомнении: вроде бы все так, а с другой стороны — черт его знает. На базар и в магазины Трубач ходил сам, принцесса его разве что копалась иногда в огороде (да что у них был за огород! — травка одна). Его голоса по видимости, хватало на двоих. Никто не ожидал, что с этим современным малым, спортивным, целеустремленным, с этим парнем-жеребцом может такое произойти, никто не ждал от него такого чувства долга и верности — может, потому что пренебрегали объяснением самым простым, как в романсе: он действительно ее любил.

Говорили, что Костя попивает втихомолку, но вряд ли он пил больше, чем требуется человеку, душой углубленному в работу. Служил он техником в телеателье. Прозвище выделяло самое приметное, но далеко не главное из его достоинств. Это был прирожденный мастер, изобретатель, можно сказать, Эдисон Нечайска. При техникумовском образовании он до многого дошел своим умом и, как бывает у таких людей, сочетающих черты современного мастера и кустаря-самоучки, нацеливался на замыслы дерзкие, которые отпугнули бы других. Он был из тех, кто при нужде может диод заменить простой шпилькой для волос — и она у него будет не только работать, но и даст эффекты, поучительные для теоретиков. За неимением более просторного поля деятельности главную энергию и изобретательность Костя перенес на свой с Зоей дом. Любопытные знакомые не случайно как на экскурсию тянулись туда поглазеть на самооткрывающиеся двери, говорящие часы, способные приветствовать гостя, кухню, где машина сама стряпала пельмени, и городской туалет, в котором вода спускалась сама, едва человек поднимался с сиденья. Костя мечтал создать комплекс приборов, которые бы в конце концов взяли на себя всю рутину каждодневных ритуалов, приветствий, расхожих слов, той автоматической части жизни, от которой можно и нужно освободить человека, — и одновременно уже нацеливался на большее: он испытывал цветозвуковой аппарат на тиристорных вариаторах, способный улавливать не только оттенки разговора, но и произнесенные вздохи, даже перемены настроения, усиливая их в сполохи электронного сияния и преобразуя в явственную музыку.

Над этим прибором он, возможно, и сидел лицом к окну, когда в комнату, обкуренную, как ладаном, канифолью, вошли Антон с Максимом. Перед тем они миновали запахнувшуюся им навстречу калитку; над крыльцом с облупленной краской зажглась электрическая надпись: «17 сентября», и радиоголос произнес: «Хозяева дома приветствуют вас с супругой», и открылась сама собой входная дверь, включился свет на застекленной веранде, загорелись стрелки-указатели: «В чулан», «В дом» — Костя ничего этого не заметил. Гостеприимный механизм, подключенный к календарю торжественных дат, давно прозябал без дела и, отпущенный на волю, далеко забежал в будущее; иногда его приводили в действие бродячие собаки, поэтому хозяин спокойствия ради отключил его от внутренней сигнализации. Собственно, он выключил его совсем, но жена иногда трогала кнопки невпопад, — так объяснил он, поднявшись наконец навстречу гостям — ничуть не смущенный, белозубый, в трепаных, когда-то рос-

кошных тренировочных брюках с лампасами и синей футболке. После долгого сидения над схемами у него отекали мышцы лица, кожа набухала, и трудно было улыбаться. Антон не видел его с прошлого года и удивился перемене: Трубач отяжелел, как спортсмен, переставший тренироваться, в нем появилась мужская, не юношеская основательность, матерость; никто бы не сказал, что он лет на пять моложе Лизавина и Максима.

А вот Зою, пожалуй, он и вовсе бы не узнал, встретив на улице. И дело не только в том, что это была теперь не знакомая девчонка-библиотекарша, а расцветшая молодая женщина, с той повадкой взрослого достоинства, которая делает девушек более взрослыми, чем даже старшие по возрасту мужчины. Что-то во всем ее облике трудно поддавалось определению и запоминанию. Платье из простенькой вискозы с каким-то переливчатым, а верней, перетекающим узором, казалось, не облегалo, а обтекало фигуру, не давая твердо судить о ее полноте или, скажем, худобе. Волосы, в тени темные, в каком-то повороте вдруг высветлялись. Вообще Антон не встречал лица, которое менялось бы так неуловимо, на глазах, от поворота, освещения, от каких-то внутренних причин. В то же время оно кого-то напоминало кандидату наук, он даже попытался вспомнить кого, но оставил эту заботу, когда из кухни сам собой въехал столик на колесиках; бутылка шампанского, едва поставленная среди посуды, также сама собой выстрелила, и пришлось срочно разливать вино в бокалы. Выпили за встречу, кстати и за именинника. Антон благодушно размягчился, готовый видеть во всем фокус или возможность фокуса. Костя, не выходя из-за стола, с дистанционным переключателем в руках, демонстрировал гостям на экране свою «хату»: кухню, комнату, веранду («Вся стеклянная, как троллейбус, — улыбался он. — Сам пристраивал»), даже сад, где камера стояла специально, чтобы смотреть, когда пацаны лазают за яблоками. Не потому что жалко, наоборот, интересно. Да только уж и не лазит никто, яблони старые, ничего не дают, сливы тоже. Так, мелочишка от матери осталась, сама собой растет. Малина там, крыжовник, смородина... Он говорил охотно, даже, может, слишком охотно, как будто не желая допустить паузы, перескакивая с темы на тему, и совместные с Максимом воспоминания пояснял сам.

Речь шла, как постепенно вырисовывалось из рассказа, об армейской стычке или драке, положившей начало их с Сиверсом знакомству. Изложение Трубача по ходу выпивки все больше напоминало мальчишеские пересказы фильмов, где жесты и междометия опережают слабый смысл слов. Антон не сразу взял в толк, что в стычке этой москвич заступился за Костю, а не наоборот, как естественно казалось решить по виду обоих. Пришлось Трубачу объяснять, что он был тогда первогодком-салагой, а Максим дослуживал срок; между салажатами и стариками существует, как известно, непростая система субординации. «Вы в армии не служили? — уточнил он у кандидата наук. — Ну, тогда вам всего не понять...» Эту фразу он повторил еще разок с туманной улыбкой, припомнив злого старшину (колхозник безграмотный, отрекомендовал его Костя), из тех, что особенно любят поставить на место студентов-интеллигентов. («Ах, стю-дент! Это тебе не книжки читать. Иди-ка почисти очко». И сам нарочно еще на доски наложит, простите за выражение»..) К салагам он цеплялся во-

обще для собственного удовольствия и к Косте прицепился не по делу, все видели, что не по делу. А Максим ему с верхних нар: не лезь... Тут Трубач счел нужным пояснить, что вообще старики занимали в казарме привилегированные места внизу, с тумбочкой; Сиверс единственный этим правом не пользовался, будем считать, пренебрегал. Так вот колхозник полез к нему наверх, а москвич вдруг ногой — р-раз! прижал его за горло к стояку и не отпускает. Что было!.. «Вы не служили, вам не понять», — все с той же туманной улыбкой твердил Костя...

Между тем обращался он все время исключительно к кандидату наук, который сидел за квадратным столом против него; разговор шел только по этой прямой, другие двое присутствовали по его обочинам, и порой чудилось, на языке своего молчания вели вперекрест иной диалог. Ишь, умный, умный, а на кого смотреть, знает. Эффект производит. Вдруг Лизавин догадался, кого ему напомнили эти большие, затененные верхним светом глаза с темным обводом радужины, эта мягкая вогнутость щек, — они с Сиверсом были похожи, особенно вот так, в профиль. Максим курил, глубоко и вольно затягиваясь, табачный дым набухал у лампы; Антон готов был понять нечаянские пересуды и сомнения, в немоте Зои не было ничего болезненного — и о чем ей говорить? Костя не допускал пауз, как природа пустоты. Теперь он вспоминал, какое роскошное электронное табло видел на Новом Арбате.

— А, я тоже видал, — дернуло встрять Антона Андреича. Почему-то хотелось ему и свое слово вставить. — Громадный такой экран, как футбольное поле, лампочки перемигивают — и цветное кино движется, да? Про консервы рыбные. Глупо так и забавно.

— Почему глупо? — сказал Трубач; вместе с нитью ровного монолога он вдруг утерял и улыбку.

— Ну, я не знаю: сложнейшая работа, уйма труда, таланта, средств, а результат — про консервы, которых и так не купить.

— Ну и что? — упрямо не понимал Костя.

— Что значит «ну и что»?.. — Кандидат наук уже чувствовал, что его голос здесь был явно излишен. Он, видите ли, в армии не служил. (Мало ли почему не служил!) У них, видите ли, есть жизненный опыт, а у него нет. И эффектных драк нет. Возможно, от шампанского узор на Зоином платье рябил в глазах, вызывая чувство близорукости, даже как бы головокружения. Запрещать надо такие узоры. Просто замолчать казалось, однако, обидно, и он стал толковать про давнюю детскую фантазию, про сон о книге с движущимися картинками — насколько это было чудесней душе, чем реально осуществившийся телевизор. Для души важно не столько чудо, сколько способность им восхищаться... Он нес явно ненужную чушь. А главное, любые слова точно скисали в дыму этого дурацкого молчания — вот лишь сыворотка вокруг лампы и нечто вроде белесых простоквашных облаков на небосводе несуразной беседы. Усмешка москвича подразумевалась — ее уголок Трубачу был видней. Зато Лизавин чувствовал на себе взгляд Зои.

— Конечно, сделанная вещь восхищает умением, — несло его. — Есть даже какой-то парадокс в том, что человека можно сделать и без умения, а простенький механизм — нет. Это принижает цену человека.

Хохма повисла в воздухе и некоторое время держалась там не растворяясь, даже, наоборот, затвердев. Во даю! — вдруг, изумившись, осознал собственную бестактность Антон. — Что со мной сегодня? Он заторопился уходить: на вечер у него было назначено литобъединение и сегодня же он собирался вернуться в город. Да-да, на воскресенье он дома не оставался, в городе тоже кое-кто хотел отметить его юбилей, и молчите вы тут все как хотите. Максим поднялся с ним. Из динамика над крыльцом включился им вслед марш «Прощание славянки», и Антон шел по уже черной, без снега, дорожке, потом по деревянным мосткам, пританцовывая под этот марш. Серебристые поздние сумерки пахли крюшоном талой воды, клетушки домов держали каждая свой кубик света, леденцово-затверделый, так что на улицу не выплескивалось ничего.

## 6

— Ну как тебе?.. — не удержался Антон Лизавин. Что подразумевалось под этим «как тебе?», он уточнять, однако, не стал. Сиверс не ответил. Ледяная крошка то и дело похрустывала под ногами.

— Конечно, когда молчишь, меньше шансов сказать глупость. А также пошлость. И вообще что-нибудь сказать. Биотоки носятся в воздухе сами по себе, аж потрескивает. И можно читать в них подтекст, как у айсберга. Она подвигает тебе хлебницу, а это следует читать: я вами восхищена. Беспроегрышно.

Отзвуки их шагов взметались и лопались невысоко в легком звонком воздухе. Дневная слякоть подмерзла. Прекрасна была эта хрустальная пора суток, когда все встречные трепетны и хрупки, а до девушек просто боязно дотронуться: разобьются.

— Я смотрю, ты заразился от нее инфекцией, — сказал кандидат наук; какой-то зуд мешал ему замолкнуть. Он вдруг прыснул: ему вспомнился анекдот про немого ребенка, который почти взрослым впервые вымолвил слово — потому что чай впервые оказался без сахара... Нет, все же ты пошляк, напомнил ему легко узнаваемый голос, и он поперхнулся. Просто ему отчего-то было не по себе. Ладонь все еще помнила прощальное касание сухих теплых пальцев, их хотелось задержать в рукопожатии, таким особым и легким было это тепло.

— Ты давно ее знаешь? — спросил вдруг москвич.

— Зою-то? Не помню. Наверно, с таких вот пор. — Он показал рукой.

— И не влюбился в нее?

— Ты это серьезно? — оторопел Антон. — Во-первых, когда я ее знал, она была совсем малявка, а во-вторых...

Он не закончил, затрудняясь сформулировать это «во-вторых». Просился на язык ответный вопрос, но был проглочен вместе со слюной, оставив оскоми-ну скорей безвкусицы, чем ехидства. Сиверс тоже не стал продолжать.

— Знаешь, мне почему-то вспоминалась сегодня сказка про чудовище, — все же не выдержал молчания Лизавин. — Помнишь, которое обхаживает красавицу разными чудесами, а само от нее таится? «Аленький цветочек»?

Ответа не прозвучало и на сей раз. Так молча они и дошли до старой монастырской церкви, где помещался клуб, или, как называли его со времен Прохора Меньшутина, дворец. Непонятная заноза в душе становилась все ощутимее, и настроение у Антона Андреевича было достаточно дурное еще до того, как он увидел среди собравшихся на занятия Ларису Васильевну Панкову.

Вот те и на! Пришла все-таки... Лизавин смутно уловил: в автобусном монологе она поминала литобъединение и, кажется, грозилась прийти, — но сейчас явление ее совсем выбило его из колеи. Года три назад, еще будучи простой школьной секретаршей, Панкова как-то пожаловала к ним со своими стихами — робкая, как и подобает начинающему автору; она даже (хоть и не без труда) говорила Лизавину «вы». Стихи были о войне, о врагах и жертвах, о защите мира — с обычным набором претенциозных и уродливых общих мест. Лизавин призвал на помощь всю свою доброжелательность и, грозя взглядом юным остроумцам, готовым уже прыснуть от смеха, стал толковать про неточность рифм, ритма, отдельных выражений. У него был опыт обезвреживания графоманов. Панкова скорбно кивала, соглашаясь с замечаниями, потом вздохнула:

— Да, вы правы. Но если б вы знали, как они зверствовали! И Антон Андреевич осекся. Осекся, представьте себе. Он знал, что Панкова пережила оккупацию. Она появилась в Нечайске после войны, здесь вышла замуж, излечила свою чахотку собачьим салом, и отчасти из-за этого сала, которое вошло в состав ее существа, Антон с детства ее побаивался, она это чувствовала. Этот вполне суеверный страх подкрепляла теперь еще одна, не менее глупая причина: Лариса Васильевна как две капли воды походила на его соседку по городской квартире, капитанскую жену и сплетницу Эльфриду Потаповну Титько. Представьте себе это чувство, когда, едва расставшись с одной Панковой, он за десятки километров от нее встречал другую — точно она невидимкой или мухой пересекала вместе с ним пространство. Совсем уж мистический трепет испытал он, услышав однажды из уст Эльфриды Потаповны фразу, которой одарила его за день до того нечаянская Панкова: «А вообще больше всего белка в желтке». (Обе они с годами становились дамами все более интеллектуальными, совершенно синхронно подписываясь на одни и те же собрания сочинений.) Предрассудки предрассудками, но прежде чем иронизировать над кандидатом наук, посмотрели бы сами на Ларису Васильевну, на ее могучие плечи в монументальном, мужского покроя жакете. Не он один перед ней робел. Возвысившись до секретарши района, она на этой же бог весть какой должности сумела приобрести необъяснимую власть над учителями, даже над родителями учеников, усвоив выражение той идиотской неприступности, что подменяет чувство достоинства у иных маленьких начальников, от которых зависит хоть бумажка. Литобъединение она теперь навещала как некая самозванная инспекция, ухитряясь обращаться к Лизавину не на «вы» и не на «ты», а как бы вовсе не обращаясь и строка что-то в толстый блокнот округлым безликим почерком.

Словом, занятие Антон Андреич начал не без нервности и, более того, — неожиданно для самого себя.

— Сегодня у нас присутствует товарищ из Москвы, — зачем-то показал он на Сиверса. — Максим Сиверс, журналист и... так сказать, литератор, — добавил он, уклоняясь от удивленного взгляда москвича. «А, вот тебе», — усмехнулся почему-то злорадно. Да и не так уж он сочинял. Все взгляды обратились к Максиму. Даже среди современно одетых нечайских юнцов он в своей вельветовой куртке и простой рубашке выглядел птицей другого полета. Как-то сидело на нем все по-дворянски. Сойдет за журналиста, подумал Антон. Даже за иностранца бы сошел, так при нем все поджмается. Он, собственно, сорвался на этот экспромт с единственной надеждой, что Панкова будет сидеть и молчать, — но просчитался. Ах, как просчитался на этот раз глубоко симпатичный нам Антон Андреич! Разве могла при столичном представителе Лариса Васильевна пустить дело на самотек? Она уже доставала из сумки листочки, уже просила первого слова, уже предупреждала, что стихи прочтет старые, написанные для стенгазеты к Восьмому марта:

Женщина, у нас ты наравне с мужчиной  
В труде и государственных делах.  
Этому является причиной  
Твой ум и деловой размах.

Пузырь тоски поднялся откуда-то из пищевода и надолго застрял в горле Антона Андреича, пока не лопнул, оставив кислый привкус отрыжки. Перепил я, пожалуй, шампанского, отметил Лизавин, косясь на москвича. Тот сидел в углу под самодельным плакатом. Наглая свинья развалилась в кресле, заложив копытце на копытце, и держала в пяточке сигару; над ушами ее нимбом светила надпись: «У нас не курят, а я курю». Хоть бы не раскашлялся, подумал почему-то Антон. Или, наоборот, раскашлялся бы. Как ему теперь объяснить про действительно талантливых ребяташек? И почему в его присутствии все так глупо оборачивается? Хотя при чем тут он? Появилась такая — где их нет? — и что с ней делать? Взаправду выделить с подходящей компанией на какой-нибудь особый остров? Она сама тебя выделит. Это все равно что собрать на одном острове особо вулканы или землетрясения. Стихийное бедствие, право, стихийное бедствие. Тут он вспомнил, что так и не спросил отца про какую-то историю с перчатками. Ладно...

Но есть еще сестры, живущие в ярме, — возвысился голос Панковой.

— В чем, в чем? — вздрогнул Антон Андреич.

— В ярме, — проверила она, приблизив бумажку.

Лизавин впервые видел ее в очках без оправы — постарела все-таки.

— «Но есть еще сестры, живущие в ярме, без прав и с клеймом рабынь. Жизнь у них как у узника в тюрьме...» Тут рифма: в ярме — в тюрьме. Что-нибудь неправильно?

— Нет, нет, пожалуйста, — пробормотал Лизавин. Господи, думал он, зачем обязательно стихи? Пусть каждый человек написал бы историю своей жизни, попробовал бы извлечь на свет божий все трогательное, нелепое, страшное, жалкое, прекрасное, что было же и есть у каждого. Он вспомнил, как подглядел однажды Панкову в затененном фойе клуба. Уединясь за колонной, она слушала песню из репродуктора и лузгала семечки, сплевывая в кулак. В своем жакете-пиджаке, с белым батистовым воротничком, укрытая, как ей казалось, от взглядов, она не замечала окружающего, за приоткрытыми крашеными губами светились влажные зубы, сквозь пласты жира пробивалось что-то молодое и женственное — так легкой тенью угадывается давняя тропка под слоем напавшего снега...

Женщины, познавшие свободу жизни,  
Единством в борьбе им протянут руку,  
Ибо каждая угнетенная — их товарищ ближний.  
Они победят, пройдя идеологическую науку...

Как довел до конца это занятие кандидат наук — не будем рассказывать. Позорно довел. Скомкал, попросту говоря, замямлил, ни с того ни с сего сослался на головную боль и уж совсем без надобности — на день рождения, на уходящий автобус.

— Может, товарищ из Москвы хочет что-то сказать? — намекнула с недоброй улыбкой Панкова. (Ох, мало хорошего предвещала эта улыбка!)

Максим сумел увернуться. Зато уже у дверей Лариса Васильевна придержала его под локоть:

— Можно вас на парочку слов?

Ага, вновь попробовал усмехнуться Антон, но угрызения совести уже перебивали злорадство. Сиверс все же марки не уронил, очень серьезным голосом попросил отложить беседу до завтра: он еще остается в Нечайске, а с Антоном Андреевичем, с товарищем Лизавиным, ему надо на прощанье переговорить.

— От нее не спрячешься, — шутливо предупредил Антон, когда они вышли на улицу. Шутка прозвучала опять не ахти как ловко. Лизавин поспешил заговорить о другом: — Теперь заезжай ко мне в город, а? что, если отец действительно устроит с работой? он ведь, не думай, человек обязательный, и ты моих стариков явно очаровал. Было бы славно, а?.. — Сиверс кивал неопределенно — Антон угадывал не глядя; кивки эти не подтверждали ничего, кроме грустной готовности пропустить, не осуждая, благодушный, лишенный понимания треп. Щемящее, похожее на жалость чувство беспричинно кольнуло Лизавина.

— Хорошо ты устроился, — сказал он поспешно. — Когда хочешь трогаться с места, едешь куда хочешь. Свободный человек...

Он вдруг отчетливо понял, что ни в какой город Сиверс к нему не придет — и, может, вообще они больше не увидятся; но только при чем тут была жалость?..



Свободный человек, — покачивал головой Лизавин, возвращаясь на станцию в позднем автобусе. — Казалось бы, вот крайняя степень: свобода от зависимости, службы, начальства. Даже денег. От забот о семье, карьере. Чего ему не хватает? Действительно: вздумал — сел, прикатил в Нечайск. Другие, привязанные к своим галерам, об этом мечтают. Чего ему надо от жизни — от своей, от чужой?.. Свобода от привязанностей, от ответственности, если уж на то пошло. В конце концов, вся его забота — об одном себе. Да. О том, как самому устроиться, от чего-то уйти, чего-то добиться, что-то понять — но для себя. Он на меня плохо действует. Да, все-таки именно он. Почему именно при нем я говорю бестактности и взгляд мой становится не расположен? Подумаешь, экран! Чего я прицепился? Мало ли что доставляет людям удовольствие. Пусть себе паяют. Можно пошутить — но не цепляться. Я ведь все могу понять, даже графоманов. Пусть живут. А этот... Ногой сдавить горло... ишь! Нервный! И какое презрение к колхозникам! Пускай за дело, пускай мерзавец попался, но ведь человеческое же горло. Все эти одержимые страстями из разных лагерей, в сущности, похожи. Максим... именно. Существует странное родство между максимализмом и жестокостью. Да, кстати, и безразличием. Если рваться только к чему-то такому особенному, а остальным пренебрегать... чтоб уж говорить, так не о пустяках, чтоб уж если с женщинами — так я не знаю как... а в результате живешь среди потеков и неустроенности, между небом и землей, отплевываешь повседневность, как семечную лужгу...

Мысль эта показалась почему-то фальшивой, с трещинкой. Он обрадовался очередному дорожному ухабу, который сбил ее. Пустой автобус мчался со скоростью почти рискованной, Антон, мотаясь, прижимал портфель, отягощенный банкой малинового варенья; казалось, он едет очень давно. Но когда на остановке он очнулся, думая, что уже станция, это оказалась всего лишь промежуточная деревня Пашутино. В автобус влезли баба, которая, видно, везла на завтрашний городской базар ведро соленых грибов, обтянутое поверху чистой белой тряпицей, да небритый пьянчуга в железнодорожной шинели и ушанке с оборванным козырьком. Он отдал водителю деньги, сам остался стоять, с трудом соблюдая равновесие в кувырках и тряске.

— Садись, — окликнула его баба. — Чего стоишь? В ногах правды нет.

— А в ж... есть? — философски, хотя и грубо ответил мужичонка, но тут ухаб сам мотнул его и силой шлепнул на сиденье, словно убеждая, что не в правде суть. — Ну, давай, — покорно согласился философ. — Я ничего. Пожалуйста. Что я, Хамлет какой?..

В незахлопнутую створку двери влетали запахи навоза, подснежной воды. Весна распускалась в ночи, словно темный цветок, и тайна ее смущала душу.

Откуда эта неспособность к счастью? — возвращался к своей мысли Антон Лизавин. — Это романтическое презрение к нему? Это нежелание принять мир и людей просто, как они есть? — А ты принимаешь? — спросил его дежурный голосок. — Я? А я принимаю. — Возможно, даже любишь? — Странный вопрос. — Нет, серьезно? Или просто доволен, если никто не вмешивается в твое существование? Не путаешь ли ты — именно ты — отсутствие ненависти с

бесстрашием и равнодушием? Тебя смущают одержимые страстями. А любовь, по-твоему, страсть?..

Тут Антона подкинуло так, что он едва не стукнулся верхом шапки о потолок, а портфель с трудом удержался в руках. Пожалуй, и этот ухаб подвернулся кстати, лучше было отложить ответ на потом. Как ни странно, про любовь кандидат наук наверняка еще не знал. Он еще многого не знал, скажем уж наперед. Он даже не мог понять, почему не хотелось думать сейчас ни о москвиче, ни о Косте, ни, представьте, о Зое и что значила эта фальшивая трещинка в мыслях. Словно дрогнуло отчего-то безусловное расположение к миру. Он не хотел вникать в это беспокойство. Его дело! Пожалуй, главное у Лизавина было впереди, а это, что ни говори, признак молодости, не определяемой возрастом.

## Глава вторая

### 1

В городе, где, как пишут на мемориальных досках, жил и работал Антон Лизавин, не было особо знаменитых памятников — разве что две церкви семнадцатого века, одна из которых лишь недавно перестала нести общественно полезную службу по хранению стройматериалов и готовилась возобновить нечто вроде службы духовной, приобретая вид, привлекательный для туристов. Зато здесь была представлена славная коллекция архитектурных стилей последних трех столетий: миниатюрные, как макеты, дворянские особняки с колоннами, фронтонами и портиками; губернское барокко времен расцвета железной дороги, в том числе Госбанк (бывшее страховое общество «Россия»), гостиница и ресторан, сохранивший среди всех перипетий эпохи гордое название «Европа»; деревянно-каменный модерн начала века с вычурными силуэтами крыш и овальными окнами на чердаках; предвоенный ампир местных государственных центров с простенками для четного числа барельефов и нишами для двух скульптур, но, увы, теперь с нарушенной симметрией. Из достопримечательностей же уникальных Антон Андреевич назвал бы загадочного происхождения колонну вблизи вокзала, в безлюдной улочке у тупиковых путей — огромную, словно кость от скелета мамонта, уже в трещинах. Из трещин росла трава, а у основания пустило даже побег деревце. Весной, начиная зеленеть, колонна сама казалась как бы явлением природы, возможно, она даже пустила корни в скудную шлаковую почву. Никто из старожилов не знал, существовало ли в каком-нибудь веке здание, которому принадлежало это коринфское диво, или, скорей, тут начинали что-то строить, да, размахнувшись почему-то именно на колонну, остальное бросили. На более заметном месте к ней давно приделали бы остальное либо ее снесли; верный своим пристрастиям, Антон Андреевич почему-то каждый раз, подъезжая к станции, рад был убедиться, что она еще цела в своем глупом тупике. Странные пристрастия, — может наконец заметить кто-нибудь, — странные вкусы; и такое замечание будет не лишено справедливости. Но кандидату наук казалось, что этакий нечаянский штришок в городе, который все больше подравнивался своими типовыми кварталами под мерку гигантских столиц будущего, по-своему нужен для душевного равновесия. Такие штришки остерегают человека от крайностей пафоса и одновременно меланхолии, иронически напоминая, что порывы и дела его не всегда так уж осмысленны; для беглого глаза колонна просто наглядней, чем тот же электронный экран с рекламой консервов, восхищавший нечаянского Эдисона.

Дом Антона Андреевича стоял в месте незаурядном: на углу Кооперативной и Кампанеллы — той самой улицы Кампанеллы, где, как известно, построили первую здешнюю девятиэтажку с лифтом. Одно время туда со всего города заходили прокатиться вверх-вниз не только мальчишки, но и некоторые романтические взрослые, не растратившие еще способности наслаждаться све-

жими детскими чудесами: может, влюбленные, чтоб поцеловаться минуточку при samozакрывающихся створках, может, пьянчужки, чтобы хлебнуть из горла в особо приподнятой обстановке. Для пресечения соблазнов в будние дни лифт теперь отключался до вечера, в выходные же не работал совсем.

Таблички при въезде с Кооперативной и Некрасовской возвещали, что Кампанелла объявлена улицей образцового быта. Это была инициатива группы активистов-пенсионеров, которую возглавляла когда-то Вера Емельяновна, ближайшая соседка и, между прочим, дальняя родственница Антона Лизавина. Ее все величали тетя Вера, даже старики и старухи на вид не младше ее. Антона поначалу особенно удивляло, почему она в ответ зовет их по именам, как детей. Объяснялось все тем, что эти старики и старушки, не говоря уже о множестве пожилых, были тети Верины воспитанники по детскому ли саду или приюту, чуть ли не яслям, или, может, по школе; за свою долгую жизнь она успела поработать во всех воспитательных и образовательных учреждениях города, включая детскую комнату милиции. Несколько поколений здешних жителей прошло через ее руки. Давно, видно привыкнув быть старше всех, она относилась к окружающим, как к детям, с непостижимой в ее возрасте энергией вытягивая, подталкивая, требуя, заставляя их быть счастливыми, чего по слабой запутанной своей природе никто по-настоящему не умел, — и хотя бы на одной улице надеялась устроить жизнь, как она всем желала. Ей было мало того, что здесь стали самые чистые тротуары и самые вежливые продавцы в магазинах, что здесь был сведен почти к нулю процент дорожных аварий (для посторонних машин въезд на улицу закрывал самодельный знак, именуемый шоферами «кирпич»). Возможно, вдохновленная именем великого итальянского утописта, она стремилась осуществить в этих тесных, зато доступных пределах его и свои светлые видения о жизни без хулиганства, без семейных несчастий, без сквернословия, водопроводных аварий и душевных неудач. Разгара ее деятельности Антон не застал, при нем это была грузная обезножившая старуха, но в расплывшемся лице ее угадывалась костистая основа Дон Кихота с вытянутым подбородком, седыми усиками и даже словно бы эспаньолкой. Болезнь застигла ее на взлете надежд. Она и сейчас продолжала числиться в почетном руководстве уличного комитета. Иногда ее, как некий сидячий памятник, перевозили вместе с креслом в президиумы, а также на свадьбы, крестины и похороны. Тетя Вера восседала во главе стола, как некая родоначальница; в разросшемся городе она давно видела нечто вроде разросшейся семьи, где всех не упомнишь по имени, хотя все имеют к тебе отношение; иногда спрашивала соседа за столом: ты чей? — и, услышав имя, пыталась поставить его в связь с другими воспоминаниями. С новой расслабленной меланхолией следила теперь она за историями, семейными делами своих питомцев и их детей, все еще воспринимая их чудачества, переживания, страсти, их соперничества, погони, драки, пакости, вражду как опасные забавы не совсем разумных детей. Эта облила соперницу кислотой, та сама отравилась. Этот ранил кого-то ножом — хорошо, что не до смерти; и как ему в руки дали такую пакость? Этот хулиган снова пить начал, а та все с собачкой играет. Тот возится с ракетами, звезды, вишь, нацепил на плечи. И она безнадеж-

но покачивала почти облысевшей головой: дети, истинно дети! Взять бы в руку ремень! Их и оставить одних без присмотра нельзя.

Теперь делами улицы Кампанеллы руководил некто Титько, муж помянутой уже Эльфриды Потаповны. Этот крепкошей толстячок, отставной капитан неизвестных войск, год назад взволновал общественность, поступив на шестом десятке лет в институт культуры. Ему специально было выхлопотано исключение, о нем написали в газете под заголовком «Учиться всю жизнь»; это было эффективное мероприятие.

Романтическим замахам тети Веры именно Титько придал вид реальный. Взять хотя бы тот же «кирпич» — чистейшее самоуправство, не утвержденное милицией; но даже милиция его стерпела. Сложность была в том, что при самых благих замыслах улице Кампанеллы приходилось считаться с реальностью остального, неустроенного, мира — не говоря уже о недозрелости материального базиса и несовершенстве человеческого материала, с которым приходилось иметь дело за неимением другого. Чужаки могли бы попросту затопить улицу Кампанеллы, то есть прежде всего ее магазины с образцово-вежливыми продавцами, и свести на нет лучшие начинания. Пешеходам «кирпич» не вывесишь и даже шлагбаум, увы, не поставишь. Правда, под взглядами дежурных активистов с нарукавными повязками не всякому пешеходу бывало здесь уютно. Лизавин испытал это на себе. Но главное, для своих здесь было налажено особое снабжение, помимо прилавка. Посторонние могли ходить сюда, как иностранцы, разве что из любознательности или для обмена опытом.

Возможно, Антон Андреевич смотрел на дела улицы Кампанеллы так иронически и, более того, насмешливо потому, что сам принадлежал к числу посторонних. Кое-кто, знаете, любит похмыкивать над виноградом, который не им предназначен. Лизавин жил в угловом деревянном доме, имевшем вид буквы Г, причем как раз в той короткой части ее о два окна, которые выходили не на саму Кампанеллу, а на Кооперативную. Так что дежурные в нарукавных повязках имели полное право коситься с некоторым подозрением на него и особенно на его бороду, чуждую в заповеднике образцового быта. Он обладал, однако, славной способностью без нужды не попадаться им на глаза, относился ко всем этим хлопотам с любопытством незаинтересованного наблюдателя. А в последнее время почувствовал себя здесь даже почти своим, поскольку стало весьма вероятным, что скоро и он полноценно переселится на улицу Кампанеллы, причем не куда-нибудь, а именно в девятиэтажный дом с лифтом.

## 2

Но каким это образом, — уже звучит в воздухе нетерпеливый и вполне законный вопрос, — каким это образом кандидат наук и пока всего лишь, напомним, и. о. доцента надеялся проникнуть в дом, где жильцы с самого начала подбирались, прямо скажем, не первые попавшиеся? Вопрос во всех отношениях уместный, ибо после череды намеков и отступлений он подводит наконец к давно обещанной теме. В этом доме, на восьмом этаже, в прекрасной однокомнатной квартире, жила женщина, с которой Антон Андреич предполагал соче-

таться браком. Звали ее Тоня, она работала инженером, была чуть старше Лизавина, умна, тонка тонкостью упругого стебля и не то чтобы красива, но привлекательна тем особым обаянием, которым обладают энергичные, самостоятельные, знающие себе цену женщины. Антон попал к ней однажды на вечеринку; верней сказать, то было нечто вроде светского приема, какие иногда устраивала Тоня. Лизавин уже потом оценил, что само приглашение подтверждало уровень и престиж, дававший право на доступ в некий выделенный городской круг. По дурной привычке он тогда чуть ли не от порога потянулся к просторным книжным стеллажам и среди униформ подписных изданий выделил вдруг знакомую серенькую обложку. Это была старая поваренная книга — первая после войны; Антон помнил с детства славные ее рецепты, каких не встречал больше ни в одном кулинарном пособии: печенка из гематогена, суп из сныти с пшеном, блюда из отрубей, крапивы и клевера. И под той же обложкой — заливные поросята с хреном, закуски с черной икрой и реклама лучшего в мире советского шампанского: документ многослойного времени и воспоминание детства, пахнущее ароматными, таинственными, как анчоус, словами, которые перебирались ради одного мысленного наслаждения и слюны. Это оказалось не единственное воспоминание, общее для них с Тоней и неожиданно сблизившее их в первом же разговоре. Живя в разных местах, они были, можно сказать, земляками во времени и имели право сразу перейти на «ты». То были воспоминания о школе, где зимой писали в варежках и где замерзали чернила в пузырьках (их носили из дома в мешочках-кисетах; у некоторых счастливых были непроливашки — дивное, если подумать, изобретение человеческого ума, а чернила разводили из порошка или таблеток), о вожденных баранках из мягкого теста, которые выдавали иногда по праздникам, в их застывшей лаковой корочке, точно в лаве, запечены были. редкие маковинки, которые выбирались кончиком зуба особо, раздавливались и смаковались у неба... Тоня знавала голод, какого Антон не испытал: его мама работала в пекарне и были, наверно, обстоятельства, в кои детям вникать не положено.

— Видишь у меня этот шрам? — откинула она однажды со лба гнедую отхны челку. — Думаешь, это я стукнулась или дралась с кем-нибудь? Это я под поезд попала, представляешь? Я как-то выстояла четыре часа с карточками за хлебом, пошла домой от заводского магазина по шпалам. Там по пути была железная дорога. Иду, понемногу отщипываю и жую. Знаю, что нельзя, но не могу удержаться, только этот хлеб и вижу, только в запах его, как в облако, лицом уткнута. И голова от этого кружилась — я не услышала гудков. Машинист, рассказывали потом, едва успел поднять решетку, чтобы меня не смяло. Я только почувствовала: грохнуло где-то сзади, даже боли не помню, — и упала без сознания. На свое счастье. Если б я брыкнулась, мне б наверняка отрезало хорошо сразу голову, а то ведь ногу или руку. Но я легла как по струнке, а поезд прокатил надо мной. Потом я, верно, очнулась, помню: много лиц и кто-то разрывает на мне фартук. Я даже помню, как сказала: фартук... жалко мне стало.

Туманная улыбка блуждала на ее губах — прелестная улыбка женщины, привыкшей скрывать не очень ровные зубы.

— А по-настоящему я очнулась через два дня. Перевязанная вся, как мумия, мне потом в зеркало показали. И в той же палате — артистка Лена Каменецкая из музкомедии, наша знаменитость областная. Мы, девчонки, всегда ходили за ней, высматривали, как она живет, как одевается, таскались за ней на танцы. Нас, конечно, не пускали, мы издали подглядывали. Наш кумир, в общем. И вдруг я в одной палате с Леной Каменецкой и даже могу с ней разговаривать. О! ради такого счастья на все можно было согласиться...

Лизавин ясно ее представлял, такую: стриженую, в сиротском платице и штопаных чулках; она была ему близка — но он слишком поспешно решил, что понимает ее. Тоню эти воспоминания гораздо меньше склоняли к сентиментальности, чем его; они были позади — скорей как памятка, обозначающая цену сегодняшнему дню. Он почувствовал это, когда среди очаровательного, общего для обоих инвентаря прошлого они обнаружили еще и зеленый карандаш. Почему-то в годы их детства он был особой редкостью. Красных и синих хватало (были и обоюдоотточенные красно-синие), а вот поэтический зеленый, необязательный для полководцев и делопроизводителей, но необходимый для рисования деревьев, травы и цветочных стеблей, имелся лишь у немногих — чуть не с довоенных времен. Владелец «зелененького» обладал и властью — властью имущего, с ним старались дружить и не ссориться. «Между прочим, я теперь хочу всегда иметь зелененький», — вдруг свернула сентиментальный экскурс Тоня, и глаза ее с великолепно подкрашенными веками сузились. Она знала цену добытому в жизни, в том числе и квартире на улице Кампанеллы, которую ей устроил отец. Он сам выбился в начальство, что называется, из низов. Лизавин видел его лишь однажды и, как ни смешно, за все время не удосужился уточнить его должности (что заставляет усомниться в практичности Антона Андреевича, но в то же время подчеркивает его бескорытность). По сравнению с Тоней кандидат наук был старомоден, зато понимал и простительные ее слабости. Каждый человек нуждается в какой-то разновидности самоутверждения, ради этого он обменивает прожитые годы на что-то весомое внешне: положение, изделия своих рук, опыт, знания, детей, коллекцию, домашнюю мебель. Удастся по-разному, но хочется всем. Антон Андреевич совсем уж пренебрегал действительностью: что поделаешь, если работа не всегда эту потребность удовлетворяет — вынужденная маята жизни, о которой не поговоришь с посторонними, если, например, сфера вещей и приобретений более надежна, доступна, а главное, общепонятна — как литература, живопись или политика. Точно весомый знак найденного самоутверждения, стоял среди комнаты кабинетный рояль, доставшийся Тоне по случаю, задаром и предназначенный для нужд будущих поколений. От безделья его благородное тюленье туловище ожирело, и Антон фатально стучался об него каждый раз, в каком бы направлении ни шел.

Тоня уже однажды была замужем. Первый муж ее обладал многими достоинствами, за которые она его уважала; получив от нее все, что ему требовалось (начиная с прописки, знакомств и отцовской протекции), он пошел дальше и выше своим путем. Да, она готова была отдать ему должное, но сама так больше не хотела и в будущем муже не искала качеств, которых ей хватало

самой. Антон ей в этом смысле подходил. Отношения их сложились так, что он даже не ухаживал за ней — она его приблизила сама и не спеша присматривалась. «Глядишь, я из тебя сделаю человека», — обмолвилась она однажды с усмешкой. Антон не возражал. Его почему-то все хотели вразумлять и воспитывать; видно, его женственная натура производила впечатление податливой и благодатной почвы. Между тем его податливость была эластичней, чем могло показаться на первый взгляд, и, исподволь распрямляясь, он все-таки умел оставаться самим собой. Но Тоне нужно было хоть такое чувство власти — вроде того, что она испытывала верхом на лошади; она умела ездить по-мужски, без седла, наслаждаясь колыханием потной спины под собой, покорностью могучей мужественной силы. Э, не будем вникать слишком в упор, сколько вообще в этом чувстве тщеславия, оглядки, слабости. Лизавин многое знал по себе, а с ней ему было хорошо. Когда она склонялась над ним, позволяя ему ловить губами свои острые, вытянутые сосцы, она могла вызвать воспоминание о капитолийской волчице, вскармливающей будущих мужчин. Антон представил это еще в поезде и почувствовал, как мучительная сладостная боль наливается, твердея, на острие его существа. Если б он не знал, что в этот ночной час подъезд девятиэтажки уже бдительно заперт и достучиваться в него бесполезно, он бы с поезда заспешил туда, а не в свою нетопленную комнату с окнами на Кооперативную...

Кто утверждал, что Антон Лизавин ничего не понимал в любви? Это еще как сказать!

Предполагалось, что он проведет с Тоней все воскресенье. Вечером она собиралась отметить у себя его юбилей, а с утра просила сопровождать с ней на собачью выставку ее боксера Сенатора. Это был роскошный высокомерный пес, вечно брюзгливым выражением морды и скорбными морщинами мыслителя напоминавший скорее премьер-министра (и премьер-министра не малой, а достаточно великой державы) или по крайней мере отставного адмирала (должно быть, из-за гирлянды медалей, украшавшей его грудь с белой манишкой, и еще потому, что багряная шерсть его не просто лоснилась, а блестела, как надраенная корабельная медь). С ним хотелось говорить на «вы», задабривать мелкими подарками вроде мундштука для курения или там мозговой косточки. Но будьте уверены, такое непонимание субординации — как если бы его оскорбили намерением почесать за ухом — Сенатор пресек бы одним взглядом, да так, что незадачливый угодник поспешил бы забормотать: «Я что? я ничего» — и одернуть руки за спину. В его повадке было что-то от беспардонности отца семейства, который иногда подходит неслышно (и не потому, что таится, а просто шаг у него такой) проверить, кто это навещается к дочке, и даже если это человек порядочный, он все равно для острастки фыркнет и удалится высокомерно, позволяя войти в дом — до поры до времени, пока не понадобится выпроводить и этого. Сенатор обладал таинственной способностью угадывать отношения хозяйки к людям, даже если отношения эти были не выявлены и Тоня на вид была любезна с гостем, — он договаривал за нее все, что было неудобно высказать ей. С неудобным или впавшим в немилость боксер вел себя нагло: мог



положить лапы на плечи и оскалить пренеприятнейшие клыки, мог даже сделать вид, что кусает, — словом, на правах члена семьи регулировал визиты.

Если бы не эти собачьи смотрины с утра, может быть, настроение Антона Андреевича в дальнейшем сложилось бы по-другому. Может быть. Наполеон, говорят, даже Ватерлоо проиграл из-за насморка, хотя некоторые саркастически пожимают плечами, слыша такую отговорку. Настроение способно зацепиться за что угодно, и на тех же собак можно взглянуть по-разному. Господи! Лизавин видывал собак, любил их, в Нечайске у них при доме всегда жила какая-нибудь дворняжка. Но даже знакомство с Сенатором не подготовило его к впечатлению, которое он испытал в тот день в городском парке. Воскресенье началось славное; дыхание большого города помогало весне, и она здесь обогнала нечайскую. С улиц снег совсем слинял, но под деревьями еще серел, а в надышанных круглых оттаинах у стволов расправлялась ржавая прошлогодняя трава. В воздухе было тесно от лая собак, их собрались здесь полчища — и каких! Ньюфаундленды, натекшие из черной смолы, сенбернары величиной с теленка, королевские крапчатые доги, оттянутые высокой пружиной борзые — каждая поодиночке могла свести с ума своей нечеловеческой статью, а тут они бродили толпами, рвались с поводков, брызгая слюной и нацеливаясь друг другу в подхвостья, стояли группками, как на светском рауте, и даже манера обнюхиваться при этом не мешала им выглядеть аристократами. Рядом с ними люди казались замухрышками, обслуживающим персоналом, как продавцы ошейников, гребешков и щеток, шнырявшие тут же. Человеческая речь звучала жалко, чуждо, как-то даже неприлично среди лая, от которого лопался воздух. Здесь все были связаны особыми отношениями и знакомствами, знали друг друга не то что в лицо, но, если угодно, в морду. Вот шла по аллее с на редкость уродливой таксой Долли Елена Ростиславовна Каменецкая, та самая бывшая звезда музыкальной комедии, кумир городских девчонок, больничное соседство с которой некогда столь потрясло Тоню; она жила в одном доме с Лизавиным, и Тоня ради давних воспоминаний теперь покровительствовала старухе по каким-то собачьим делам. Она поздоровалась с Долли запросто, но мимоходом и тут же приветливо вскинула руку: «О, здравствуйте, Миледи!» Лизавин, не раз слышавший это обращение в телефонных разговорах своей подруги, оторопело видел перед собой мужчину, причем мужчину вполне представительного, даже седеющего, с бровями роскошными, как бакенбарды, и бакенбардами ухоженными, как многолетний английский газон; на нем был ошейник с медалями, от тяжести которого он освободил здоровенную овчарку. «Ну как, мы еще не оценились? Тут кое-кто уже просит замолвить словечко. Все теперь хотят элиту, только элиту»... «Артурчик, привет, — обращено уже было к весьма пышной даме с карликовым пинчером в кошелке. — Как наше самочувствие? О вас, хочу вам сказать, давно мечтает одна сучка... Я понимаю, понимаю, но, как говорится, ноблес обличж». «Ах, какие мы милые, какие очаровательные, — слышалось вокруг. — Это мальчик или девочка?» — «Девочка». — «Наша с вами, случайно, не сестры? Вы от кого?» — «Мы от Бархана». — «Ну конечно, сестры». — «Скажите, а как та сука, что должна была оцениться тринадцатого или четырнадцатого, уже оценилась?» — «Да, и представьте, все сучки». — «Это хорошо, сук у нас не хватает.

Кобелей сколько угодно, а спаниели вырождаются». — «Сколько угодно?! Вы не представляете, какое безобразие творится в нашей секции. Чтобы случить свою малышку с кем-нибудь хороших кровей, надо теперь подмазывать не только хозяина и Ольгу Оскаровну, но еще и председателя секции и еще двух прихлебателей». — «Да, вы не видели у входа объявление: «Продается сука от Ивана Грозного в хорошие руки». — «Что вы говорите! Ивана Грозного я прекрасно знал. Отменный кобель...»

— Сенатор! Сенатор! — выделилось из этого базара. — Ай-яй-яй, как мы заросли! Будем подстригаться?

— Да, да, лапочка, — встrepенулась Тоня, — я как раз вас искала. Антон, придержи его, пожалуйста...

Вот уж не представлял кандидат наук, что такую гадкую, лоснящуюся собаку, как боксер, можно еще где-то стричь. Симпатичная девица в больших очках достала между тем из чемоданчика-дипломата ножницы и первым делом ловко подровняла Сенатору уши. Затем несколькими артистичными взмахами подстригла ему хвост и наконец — представьте себе — шерсть на ягодицах, ровными, по линейке, струйками по обе стороны роскошных кругляшей Сенатора. Отошла на шаг, откинулась, как художник, оценивающий свою работу, и вернула ножницы в чемоданчик. Тоня клетчатым носовым платком отирала боксеру слюнявые брыли...

Кандидат наук был оглушен и несколько обессилен еще прежде, чем собак растащили по рингам, где их принялись осматривать эксперты, ласковые и властные, как детские зубные врачи. «Оттяните ему брыльца, а зубки сомкните. Нет, чтоб я видела десны. Да-а, нерегулярочка... А повернитесь-ка, молодой человек, задиком, покажите ваше хозяйство. Оч-чень хорошо»... Конечно, играла свою роль непривычка, но чего во всем этом было такого особенного? отчего мутило душу странное чувство, что он ничего не понимает в жизни, в той самой жизни, где женщины куда менее сентиментальны, чем мужчины?.. Он почему-то вдруг живо представил, как к Тоне и ее боксеру приводят собак для случки, как она вот так же инспектирует производительные части своего Сенатора, как поощряет его, а потом любит его мощной судорогой и ждет, пока собаки, зад к заду, оправляются от вязки... Неужели от этой житейской картины могло стать так неуютно взрослому, слава богу, человеку? неужели от этого с такой усталостью, похожей уже на тоску, он подумал вдруг о предстоящем вечере, о ночных отражениях в полированных плоскостях шкафов, о каких-то циничных задних лапах Сенатора, который, казалось ему, наверно, подсматривал из темноты, все ли у них в порядке?.. Вздор, глупая игра воображения, право. Скорей дело было в намечавшейся неустойчивости погоды, в каких-то хлипких облаках, испортивших небо, в самом промежуточном этом времени года, которое от дуновения ветерка могло повернуть и так и этак.

А о вечере он волновался напрасно, все было даже очень мило. Гостей подбирала Тоня из числа общих знакомых, но Антон Андреич ничего против них не имел. Друзей преимущественных он в городе не выделял, с сослуживцами был ровен, да из сослуживцев присутствовала тут одна лишь Клара Ступак, бывшая однокурсница Антона, а ныне лаборантка на его кафедре — довольно

меланхоличная и бесцветная особа, отличавшаяся, впрочем, портновским искусством, длинным носом (кончик его был как-то отдельно выделен, как будто тот, кто лепил его, слишком сильно стиснул в этом месте податливый материал) да еще странной потребностью воспитывать Лизавина по общественной линии. Одно время эта зануда преследовала Антона не только на службе, но даже дома, пока не кончилось все эпизодом, о котором оба предпочитали не вспоминать, а потому и мы не будем. С тех пор лаборантка считала нужным обращаться к нему только по имени-отчеству, и Тоня, имевшая с ней дела по части шитья, не подозревала, что видит перед собой соперницу. Да какая Клара была соперница!.. Кое-кого из гостей Антон даже не помнил по имени: каждый раз, прозвучав, имена эти испарялись в воздухе, не успев достигнуть его рассеянного сознания. Знакомство с ними как-то не выходило у него за рамки диалогов из учебника иностранного языка: «Вы любите спорт?» — «О да, я очень люблю спорт. Спорт полезен. Мой брат очень любит спорт тоже». Других он знал ближе, например Леонарда Кортасарова, знаменитого собирателя пластинок, известного в городе как Король Баха. Коллекция его действительно была отменной, но и в ней было зерно, которым Леонард гордился особо, хотя не каждому об этом говорил. Антону он открылся однажды, демонстрируя запись Хоральной прелюдии соль минор в исполнении Браудо. «Слышите, кашель? — приподнял он в одном месте палец. — Вот еще. Это я. Был в Москве, в консерватории, и хорошо помню, как в этом месте закашлялся. Неловко, знаете. А потом слышу: и на пластинке запечатлен. Вместе с Бахом и Браудо». У него подобралось уже несколько таких дисков, и Антон подозревал, что Кортасаров теперь умышленно ищет okazji приобщиться к бессмертию хоть так, простодушно и безымянно. Это был милый суетливый человек, который лишь к сорока годам узнал, что обладает абсолютным слухом, но не находил способа его использовать на должности заведующего ветеринарной лечебницей.

Единственный, с кем Лизавин познакомился в тот день впервые, был тот самый изысканно-импозантный владелец Миледи. Торжество посвящено ведь было не только Антону Андреевичу, но отчасти и очередной медали Сенатора, который сидел на диване за спиной хозяйки в своей белой манишке, наморщив строгие складки между бровей. Миледи (как продолжал именовать его про себя Антон) был человек, убежденно почитавшийся в городе за незаконного сына Николая II. Последний русский император действительно проезжал здесь за положенный срок до его рождения и вполне мог встречаться с его матушкой, знаменитой местной красавицей. При желании можно было даже найти в нем сходство с предполагаемым папашей, которого, впрочем, если кто в городе и видывал, то в кино; там император, правда, носил не бакенбарды, а бородку и брови имел не столь модные — но рост, осанка и, главное, вальяжные, покровительственно-снисходительные манеры молчаливо подразумевали исторический факт. Неизвестно, как сын держался в прежние времена, когда сам намек на подобное происхождение, даже неподтвержденный, был опасен. Сейчас же этот красиво седеющий императорский потомок воплощал собой породу, традиции, престиж, о которых так любила потолковать Тоня. Она с особым старанием пыталась свести их с Антоном для интеллектуальной беседы, можно даже

сказать, науськивала их друг на друга, но Лизавин в тот вечер был слишком вял, и она с готовностью поддерживала разговор сама (ухитряясь одновременно присутствовать в другом конце комнаты, по ту сторону рояля).

— Традиция, — ронял слова царственный владелец Миледи. — Порода. Корни. Что еще может дать равноценную основу в жизни? Житейскую, нравственную, социальную, наконец? Вы, как литератор, несомненно чувствуете, что этот поиск — одна из примет нашего времени, с его неустойчивостью. Сумбуrom. Неуверенностью.

— Родословная Сенатора тянется дальше моей, — откликнулась за Лизавиной Тоня.

— Есть, знаете, интеллигенты в нескольких поколениях. У них даже дети рождаются с наследственным мозодем от пера на среднем пальце правой руки. Проверьте-ка у себя.

— Да-да, у меня есть, — убеждалась Тоня. — Но, думаю, не от родителей.

— Ничего, надо только позаботиться о детках. Мы пережили времена, когда многие родословные были прерваны. Сейчас надо начинать новые. Как начинают новые наследственные библиотеки. — Он поощрил взглядом шеренги книг, их золоченые спинки. — Вы по возрасту вряд ли помните, как книгами топили печки.

— Как же не помню... — усмехалась Тоня.

— Тоже, знаете. Экклезиаст: время жечь книги и время начинать библиотеки, время выкорчевывать роды и время создавать новую элиту...

— Элиту, да... — поддерживала Тоня прекрасное слово...

В общем, разговор как разговор; в другое время Антон сам охотно порезвился бы на этом интеллектуальном пастбище. Но чем-то была смущена его душа, и взгляд по-дурацки упирался в мелочи, по которым прежде добродушно скользил (и правильно делал): например, в сигарету, которую императорский потомок держал как-то слишком уж элегантно, между средним и безымянным пальцем. Упирался и выбивал из головы более существенные мысли. Он надеялся, что все пройдет, когда они останутся вдвоем с Тоней, с ней ему всегда бывало хорошо. Но признаться ли? — он испытал постыдное облегчение, когда под конец вечера, уже провожая гостей, Тоня вдруг шепнула ему на ухо:

— Знаешь, какая жалость: мы сегодня не сможем с тобой остаться. Понимаешь?.. Я не ожидала...

Можно судить Антона Андреевича за это облегчение как угодно, да что делать, если ему отчего-то было не по себе. В конце концов, все складывалось даже удачно: жизнь берегла его от необходимости усомниться в себе и своих чувствах. Он ведь любил Тоню и просто был сбит с толку вздорным расположением светила, в котором еще следовало разобраться.

### 3

В ту ночь Антон Лизавин долго не мог заснуть. Какие-то мысли, колючая, шершавая мелочишка, заставляли ворочаться с боку на бок, как в детстве засох-

шие крошки на простыне, только теперь он не умел их стряхнуть. Вдруг вздумалось вычислить, например, сколько дней живет человек, и он поразился, до чего оказывалось мало: даже за сто лет — чуть больше тридцати шести тысяч дней. Тридцать шесть раз по тысяче или тысячу раз по тридцать шесть. Столько, сколько секунд в десяти часах. А прожил он всего: тридцать на триста шестьдесят пять — десять тысяч девятьсот пятьдесят дней, не считая високосных довесков. То есть примерно столько же ему и оставалось: десять — одиннадцать тысяч деньков. Всего только сосчитать до десяти тысяч — вон они как мелькают: в детстве сколько раз досчитывал. Раз, два, три, четыре, пять... Такой счет куда наглядней, чем на года. Антон даже попробовал не торопясь считать, но быстро сбился на другие мысли и картины. Среди картин этих были настолько нелепые, что они могли принадлежать только сновидению, из чего справедливо заключить, что он все-таки спал в ту ночь. В последнем из этих сновидений (которое запомнилось потому, что было последним) он был ни более ни менее как скульптурой — очень красивой, с бородкой и, кажется, голой. То есть не совсем, а, как положено спортивной гипсовой фигуре, в чем-то куда более неприличном, чем нагота. Да, он был одной из двух монументальных статуй, что украшали центр городского парка: мужчина с веслом и женщина с диском, и чувствовал себя неуютно, потому что к цоколю его непрерывной чередой спешили собаки. Он в беспокойстве хотел посмотреть, что они делают там внизу, но при попытке шевельнуться почувствовал, как с него стали обваливаться куски штукатурки. Это было не больно, однако страшновато, он не был уверен, есть ли внутри него тот самый железный стержень, который не позволит ему рассыпаться совсем, и напрягался, пытаясь нащупать его где-то в животе или между лопаток...

Можно понять, почему после такого кино Антон Андреевич поспешил наконец открыть глаза. Чувствовал он себя как будто бодро, но некоторое время еще привыкал к миру: так водолаз, поднимаясь из глубины, задерживается перед поверхностью, чтоб примирить кровь с пустотой воздуха. За окном уже разогревался молоденький весенний рассвет. Дворник скалывал у водоразборной колонки лед, помогая маломощному пока солнцу. Зачем-то зажглись не горевшие всю ночь фонари, необязательные в своем показном благородстве, как запоздалые обличительные романы. На кухне соседки Эльфрида Потаповна Титько и Елена Ростиславовна Каменецкая начинали ежедневную тактическую борьбу у газовой плиты. Словно хоккейные тренеры, выжидающие, пока другой первым выпустит на лед свою пятерку, они предоставляли друг другу первой разжечь конфорку, чтобы самой сэкономить спичку, позаимствовав от готового чужого огонька. В гостинице «Европа» с грохотом будили командированных, совершая рассветную натирку полов. Журналист Семен Осипович Волчек лежа делал дыхательную гимнастику по системе йогов. Телефонистка междугородной станции Леночка Ясная сдавала ночное дежурство и с улыбкой вспоминала приятный баритон, который третью смену подряд мешал ей неслаужбными разговорами, а сегодня предложил встретиться у кинотеатра «Факел». Над этим надо было еще подумать, но сначала выспаться — ах, выспаться! — и при мысли о ждущей ее холодной простынке, об узком диванчике ей станови-

лось сладко и жалко себя. Молоковоз из совхоза «Светлый путь» въезжал в город, встряхнув на выбоине тяжелые бидоны; полчаса назад он проехал мимо инженера Прошкина, который тщетно голосовал на обочине. Инженера подсадила следовательская бригада, возвращавшаяся из деревни Сареево, где ночью сторел магазин вместе с пьяным сторожем. На вопрос, что он делал в совхозе и зачем едет в город в такой ранний час, Прошкин, осклабясь, объяснил, что был у бабы, а теперь спешит на работу. «Везет же людям», — зевнув, сказал с завистью милиционер в штатском, а шофер стал допытываться, у какой именно бабы пасся Прошкин. Не у Любки ли, случайно, буфетчицы? Или у Клавы, медсестры? — он в совхозе, оказывается, всех знал. Инженер загадочно похмыкивал, он сам понимал, что ему везет, хотя особенно счастливым себя не чувствовал. Ибо счастье, как говорил Лев Толстой, есть удовольствие без раскаяния; тут же и удовольствие было не ахти какое, и раскаяние назревало. Тем более что ему, не выпавшись, предстояло теперь отбарабанить смену на своем заводе железобетонных конструкций, где уже висел приказ о вчерашнем нарушении техники безопасности по его цеху, когда два такелажника, не получив точных инструкций, поспорили, как передвигать плиту, и один в запале хватил другого ломом по спине. Перед глазами инженера болталась на ниточке кукла-талисман с загадочной детской улыбкой. Вокруг шоссе чернела зябь, по ней расхаживали грачи, добывая пропитание. Тень от придорожного щита ложилась на асфальт сиреневым ковриком. С высоты самолета, который летел над ними, беззвучный и бесплотный, словно ангел, вся эта дорога была трещиной на лоскутной поверхности, и впереди виден был город, а там, глядишь, и Москва, где тоже в этот час просыпались люди. В типографии уже напечатана была газета с фельетоном, готовым изменить чью-то пока беспечную судьбу. В больнице образованный заика Василий Петрович Шимарев, бездарно попробовавший покончить с жизнью под колесами грузовика, ибо измучился от невозможности объясниться в любви, впервые понял тем утром, какое счастье дышать, не испытывая боли в ребрах. Зубной техник Прасолов задушил подушкой будильник и попытался скорей вернуться, ухватить за хвост еще живое сновидение, которое несло его только что над ослепительной страной. Но хвост холодным остался в руках, а существо сна исчезло, растворилось безвозвратно... Трель крови в ушах, шепот сверчка, верещанье воды, звон воздуха, стрекот времени, гуд просыпающегося улья — трель, шепот, звон, стрекот, гуд и верещанье недостоверной, как из полусна, жизни поднимались над миром, словно туман; изнемогал гребец в пустыне, весла вязли в песке, но ни на шаг не сдвигалась лодка. Афродита на дальних зеленых лугах медлила раскрыть веки. Складки остывшей простыни рядом еще хранили намек на форму тела. Последняя звезда, померкнув, сама еще видела края в дымке, Багдад, где вор перчатки спер, где шейх скучал в гареме. Корабль в гладкой воде прочно опирался на свое отражение. Ногами к солнцу лежал миллионер-иностранец, он видел свои ступни и каждый палец в ярком светящемся контуре на фоне сапфирового моря, и каждый волосок был вырисован четко и тщательно, как на картинах сюрреалистов, бронзовая муха перебиралась по ним, хоботком, как пылесосиком, втягивая невидимые следы сладости. У миллионера была квартира с четырьмя туалетами, каждый инкрустирован

слоновой костью, и он пользовался ими по очереди, надеясь хоть в одном справиться с многолетним запором. Ах эти надежды спросонья, у каждого свои!.. Утро продвигалось вдоль земли, снимая с нее тусклую предрассветную пленку. Под исчезнувшей звездой возвращался самолет из краев, откуда уже подбиралась к Нечайску зеленая весна, и солнце ласково золотило ему брюхо. Увы, Нечайск под ним был закрыт облаками, что делалось там, не видно... не видно, не разобрать. И пусть; не обязательно о нем думать — да он уже позади, зато город как на ладони, вот улица Кампанеллы, и дом Лизавина, и сам Антон Андреич во дворе, занятый колкой дров...

Да, Антон Лизавин в этот час колол дрова. Заготовленные с осени кончились, в сарайчике оставался десяток недоколотых чурбаков, самых суковатых, трудных, отложенных когда-то под низ поленницы — авось не понадобятся. Дошла очередь и до этих орешков, деваться было некуда. Антон возился с ними отчаянно. Он разогрелся на утреннем морозце, и тело его дымилось. Запах свежего на расколе дерева был сладок дыханию. Трудней всего давались чурбаки, взятые близко к корню, со спутанными, переплетенными волокнами и ловушками внутренних сучков; топор увязал в них, лезвие его было горячим. Попадались и поленья со сдвоенным набором годовых колец — здесь дерево готовилось, видимо, раздвоиться, и между этими кольцами (они напоминали круги от двух рядов упавших в воду камней) порой открывалась затаенная внутренняя кора. Сырье для недорогой метафоры, — отметил про запас Лизавин. Искорка писательской мысли высветила было рядом мысль другую, давно разыскиваемую, насущную... Но тут во двор прибежал с улицы спортсмен Вася Лавочкин. Он круглый год ежедневно совершенствовал технику барьерного бега и теперь, после разминки, держась рукой за перила крыльца, стал отрабатывать махи правой ногой. Его задачей было делать каждый день на пять махов больше, чем накануне. Лизавин зачем-то попробовал их считать, но скоро оставил. Разогнувшись, придерживая поясницу, он с уважением смотрел на одухотворенное лицо Лавочкина. Пустые веревки для белья, от стены до турника, пересекали небо над маленьким двориком. У забора спинами друг к другу жались два дощатых нужника: один для прописанных в доме по Кампанелле, другой — для числившихся по Кооперативной. Первый был заперт на замок, чтоб не пользовались прохожие, и даже имевшие ключи втихомолку бегали во второй, вызывая частые скандалы, — хотя ямы под обоими все равно сообщались... Странная задумчивость овладела Антоном. Драгоценная мысль вернулась в потемки. Некоторое время он даже не мог вспомнить, что делать с валявшимися среди щепок дровами, с топором, со спортсменом Васей. Наконец — хотя и не сразу — все оказались устроены: спортсмен резиновой рысцей ускакал дальше на улицу, топор уткнулся в бревно под сарайной притолокой, дрова образовали скромную поленницу, отдельная же охапка их составила пищу огню.

Дома, слава богу, движения и мысли вправились в колею привычного автоматизма. На сковородке заскворчала яичница. Нужные вещи сами шли в руку, точно к хирургу, которому опытный ассистент по мановению вкладывает то скальпель, то зажим. Лизавин ценил надежность и верность этих четырех стен, где человек наиболее чувствует себя самим собой, где слова и мысли его звучат

особенно уместно и полноценно, не требуя свежего напряжения, где все по мерке разношено, удобно, потерто на сгибах, где каждый создает себе мир по своему образу и подобию — в разных местах разный, из подручных материалов, но в то же время всюду один, predeterminedный его внутренней сутью, как судьба, как кожа с опознавательным узором на пальцах. Милашевич где-то писал, что человек сращен с миром своего жилья, как кентавр, питается соками этой своей части тела и питает ее своими соками. А вот и сам Симеон Кондратич дожидался своего часа на письменном столе. До начала занятий еще оставалось время, и Антон Андреевич сел разбирать рукописи.

Видимо, за недостатком бумаги Милашевич одно время писал на чем попало: на обороте конфетных фантиков или в чужой амбарной книге, которую Лизавин сейчас и открыл. Здесь была, между прочим, небольшая новелла о человеке, которому случайно досталась в собственность китайская лопаточка для чесания спины — такое, знаете, приспособление в виде изящной пятерни на длинной ручке лакированного дерева. И вот, казалось, никогда не было у него такой уж особой потребности чесать спину, а тут что-то новое появилось в его существе. Как посмотрит на это антивоенное снаряжение, использованное армией еще в турецкую кампанию... Тут Лизавин обнаружил, что по рассеянности перелистнул лишнюю страницу и обломок одной фразы, даже слова бессмысленно совместился с другим; на самом деле читать надо было: как посмотрит на это антикварное изделие, так у позвоночника начинают ползать словно бы насекомые... Но понял он это не сразу; так бывает, когда читаешь задремывая, хотя он вовсе не был сонным, наоборот, в голове сияла слегка нездоровая, электрически резкая ясность, какая бывает после бессонницы. Было неуютное чувство, будто отовсюду дуют сквозняки, но откуда именно, не уловишь. От амбарной книги пахло клеенкой. На столе в рамочке стояла фотография Милашевича: пенсне со шнурком, борода-перышки, сократовская лысина. «Отчего все же так пахнет клеенкой, Симеон Кондратич?» — качнул головой кандидат наук. «Клеенкой? — повел тот ноздрями. — Не замечаю. Принюхался, должно быть». — «А так все в порядке?» — «Да помаленечку, дай бог не хуже». — «И супруга ваша благополучна?» — «Благополучна, ангел мой», — прижмурился философ за стеклышками пенсне. «И всем довольна-счастлива?» — «Странный вопрос!» — сказал Милашевич, не меняя выражения лица, но что-то на этом лице застыло, как у человека, ждущего, что его сейчас сфотографируют. «Я просто к тому поинтересовался, что есть некоторые как бы намеки в отношении вашей жены...» — «Оставьте, Антон Андреич! Что это вы!.. оставьте. Что за страсть пробиваться к камеркам, куда человек сам себя не пускает! По-человечески вдумайтесь. Сколько усилий тратишь, чтобы не выдать себя себе самому. Не дай бог! Так вот на тебе гробокопателей! Вообразите по себе, как станут когда-нибудь через ваши строки буравить душу. Если заинтересуются, конечно, строками и душой». — «Нет, я не к тому... что вы так разволновались?» — «Я, Антон Андреич, не за себя волнуюсь. Мне, если уж на то пошло, все равно. Но вам зачем поддаваться этой инфекции?» — «Да вот мысли стали приходить о соотношении внешней биографии с душевной». — «А-а! Мысли... Мое мнение вы знаете, могу повторить. В жизни истинно лишь то, что пропущено сквозь душу. Ра-



бота, судьбы других, мировые события — все твое, если они стали одушевленными, личными, кровными. В этом смысле у человека только личная жизнь — настоящая». — «Ну да, да, — согласился Лизавин, — прямо мои слова, подписываюсь». — «Но следует отсюда разное, потому что люди разные, и таков же выбор души, ее вместимость. Мы ищем богатства жизни вовне, пренебрегая глубиной своей гениальностью. Для иного, скажем, приятное почесывание спины — более подлинное переживание, чем кругосветный полет, после которого не пристанет к душе ни пылинки, чем какая-то дальняя катастрофа или засуха на другом полушарии, интерес к которым наружен, натужен и лишен любви». — «То есть все приспособляется к личному пользованию, — уяснил Лизавин. — И уже где-то близко знаменитое: миру провалиться, а мне бы чай пить». — «Тьфу, господи! — обиделся Милашевич. — Нашли с кем сравнивать! Да плюньте вы этому истерику в его помойный чай! Ведь у него все одно вместо чая помой, в том-то и дело. Он ведь его пьет с отвращением, ради одного фальшивого принципа. Неужели вы не чувствуете? Потому что чай ему ничуть не интереснее мира и душа его неспособна к радости. Тут коренная разница». — «Да, да, — пробормотал Лизавин. — Зато как мучится!.. Кстати, раз уж вспомнилось, Симеон Кондратыч, какой у вас способ заварки? Сколько вы на стакан берете?» — «Чаю-то? А зачем вам?» — «Попутно, чтоб не забыть. Рецептами интересуюсь». — «Рецепт — это пожалуйста. Хотя и не припомню, когда я настоящий-то чай последний раз заваривал. Это если довоенный у кого остался. Эпоху не забывайте, молодой человек. Ведь так всё — липовый цвет, знаете, кипрей...» — «То-то я и подозревал». — «Ну и что? Наслаждение не этим мерится. Бывает, и пустой кипяток да черствая горбушка слаще меда. Сами знаете». — «То-то и оно, что знаю. Но как такой чай предъявить другим? Все вопросы начинаются, когда соприкоснешься с другими. В близком чувстве, например. От этой клеенки каким-то одиночеством пахнет, обособленностью и самоудовлетворением. Простите за двусмысленное словцо. То есть другие люди для такой жизни не обязательны. И ты им не обязателен...» — «Люди разные, — поспешно повторил Милашевич. — Люди разные, в этом ответ на все. Напоминайте это себе — и успокойтесь. И вообще вам на лекцию пора, а вы не готовы».

Симеон Кондратыч выразился неточно, лекций в тот день у кандидата наук не было, были всего лишь семинарские занятия. Но и на них Лизавин пришел явно не в форме. На последнем занятии он ухитрился клюнуть на заурядную студенческую провокацию. Да что студенческую, ее знают и школьники, если не выучили уроков и хотят, чтоб их не вызывали к доске: подзадорить преподавателя каким-нибудь умным вопросом. Антон Андреевич был достаточно опытен, чтоб не позволять таким образом уводить себя в сторону, — но вот поди ж ты, не сдержался и до звонка проговорил сам. Вопрос был тот самый, о причинах писательского интереса к людям пишущим; что мог напеть в ответ кандидат наук, мы уже примерно знаем, однако не в том дело. Пока он токовал, словно глухарь, о поддержке, которую получает от литературы человек, убеждаясь хотя бы, что он не один такой со своими проблемами и путаницей (так в больнице становится легче от зрелища и не таких больных), об отличии писательского знания людей и жизни от знания, скажем, врача, юриста или полити-

ка, об этой способности примерить к человеку любую возможную черту, надеть его собственной мудростью, увидеть его таким, каким ему и не снилось осуществиться, — когда в собственной реальной жизни автор сплошь и рядом слабей и глупей своих героев, хотя и попадания ему даются порой непостижимые, и тогда жизнь бросает вызов его человеческим возможностям... — пока он нес всю эту необязательную для аудитории невнятицу (студенты блаженно пошумливали, занятые своими делами), какая-то другая, уже примерещившаяся однажды догадка возникла на оболочке слов и мыслей — точно пылинка, приставшая к поверхности капли, но еще не смоченная, не поглощенная ею. По пути домой он все старался не упустить, вобрать ее в себя. Догадка была связана с Максимом Сиверсом: что он не приедет в город? — нет, это он понял раньше, и Сиверс имелся в виду отчасти другой — тот, что обосновался с прошлой осени под золотым тиснением «Machineexport»... Едва скинув пальто, Антон извлек из ящика уже изнемогавшую от нетерпения тетрадь. Он думал перечитать давно оборванную запись, но вместо этого снял колпачок с золотого паркеровского пера, и быстрые, некрупные, почти без наклона буквы стали складываться в очевидное, тревожное и соблазнительное продолжение.

Это был сюжет о безмолвном объяснении в любви, о залетном госте, ворвавшемся в жизнь пока непонятной, почти условной женщины, от узора на платье которой кружилась голова, но молчание которой требовало разгадки, как секрет самой жизни, об усмешке, повисшей в воздухе дома, где дремала в футляре труба и под чехлом глохло привезенное в приданое материнское пианино, где давно не слышно было музыки, кроме репродукторной, о побеге от мнимостей и поисках настоящего, о новой встрече, о соблазне и ревности, о бедном трубаче, который при всех поворотах событий оказывался ни при чем. Дальше картины становились туманнее: стычка? мычание тоски?.. вроде бы красные капли на снегу, вдоль тропинки и чей-то неизбежный отъезд из Нечайска. Но кто уезжал? и один ли? вдвоем?.. Муаровый узор, сбивавший с толку зрачки, заставлял прикрывать веки, но, разумеется, и под веками не исчезал. Поеду я завтра в Нечайск, — отчетливо решил вдруг Лизавин. — Зачем? Просто так. Занятий во вторник нет, одно лишь заседание кафедры — можно пропустить.

Надо знать Антона Андреича, чтобы оценить эту отчаянную, почти бунтарскую решимость — прогулять кафедру. Отложив перо, он зачем-то долго смотрел на себя в зеркало. Это было старое, зеленовато-тусклое зеркало — точный двойник нечайского, как были двойниками родительских вещей многие из предметов в комнате: стулья, тюлевые занавески на окнах, кровать с никелированными шишечками. Смотреться в другие зеркала он не любил, а в этом не то чтобы себе нравился, но отражение тут его устраивало. В детстве он часто кривлялся перед зеркалом, то усугубляя свое уродство, то стараясь придать отражению вид значительности и благородства. Примерно тем же он занимался и сейчас, заинтересованный глубокомысленной идеей: можно ли подделать свое отражение?.. А в Нечайск я не поеду, — решил между тем он. — Смешно это будет выглядеть. Или вот так: если мимо окна первым пройдет мужчина — поеду, если женщина — не поеду. Он отодвинул занавеску. Из-за оконной рамы, слов-

но только того и ждала, выдвинулась мощная фигура Ларисы Васильевны Нанковой, которую в здешних местах звали Эльфридой Потаповной Титько. Это я и имел в виду, — удовлетворился кандидат наук. — Поскольку я в приметы не верю, их следует толковать наоборот.

Он все равно знал, что поедет. Самое трудное было — избыть оставшееся, промежуточное время. Оно не прогорало, а спекалось в вязкую бурую массу, и из этой массы торчали ручки и ножки ненужных, непереваренных подробностей дня: спортсмен Вася Лавочкин, студенты, кислый голос лаборантки Ступак. Он бездарно пробовал придумывать отговорки, почему не будет на завтрашней кафедре: что-нибудь там с родителями, срочно пришлось уехать, — не подозревая, что и придумывать ничего не придется, что повод уже существовал в природе, в непроявленном, как фотографическая пластинка, пространстве.

Вот ведь забавно вообразить: показали бы человеку своевременно умную книгу о его собственной жизни, где осведомленный исследователь из будущего как дважды два объяснит, в чем несчастная суть твоего характера, каковы идейные твои заблуждения, почему ничего не получится, скажем, из второго тома твоих «Мертвых душ» и чем ты в результате всего кончишь, — но даже если убедит тебя ясновидящий эксперт и почти во всем ты ему поверишь — сумеешь ли и захочешь ли что-нибудь изменить? Праздная, впрочем, фантазия. Взбрдет же!

#### 4

Еще два дня назад белизны вокруг было больше, чем черноты; сейчас законный пейзаж будто вывернулся негативом. Пахло дымом горелой травы, которую жгли мальчишки на обугленных откосах. В низинах и бочажках деревья стояли по пояс в сахарной воде. В непривычном утреннем автобусе не хватало рядом Панковой, хотя облако потных духов «Юбилейные» присутствовало на ее всегдашнем месте и даже имело форму вполне плотную и весомую, заставляя Антона Лизавина тесниться к окну. Столь же реально было все то же чувство неразгаданного пока беспокойства, существовавшего где-то вовне, за стеклом, сопровождавшего его всю дорогу, словно та дымчатая, зажившаяся на утреннем небе луна, — куда более реально, чем дальний лес, видневшийся призрачно и зыбко сквозь воздух, начинавший кипеть над полями. Так чувствуешь тяжесть тени, которую отбрасывает будущее, — да тут уже и не будущее; он просто еще не знал, в какую сторону смотреть.

Вот что значит неаккуратно читать газеты! За вздорной своей душевной смутой Антон Андреевич даже не слышал и не видел вчерашнего московского фельетона, где выволакивалось имя его отца, Андрея Поликарпыча Лизавина, в связи с историей, о которой он так и не удосужился спросить в прошлый приезд, — той самой, почти двухнедельной давности, историей с украденными перчатками.

Началась она, как уже докладывала Лизавину Панкова, в очереди промтоварного магазина, где вдруг выкинули, как у нас говорится, галоши. В Нечайске эта знаменитая некогда обувь была последнее время отнюдь не в ходу. Несколь-

ко лет в магазине галоши даже не появлялись — а редкий товар, как известно, уже накапливает обаяние, близкое моде. Очередь сразу выстроилась на улице, нервная, подозрительная, с требованием давать в руки не более двух пар... Хотите загадку: длинная, разноцветная, сто ног, один хвост — и кричит? О, очередь! способ существования и клуб (как прежде собирались у колодца, только, увы, не так добродушно), место, где не живут, а пережидают — но проводят притом едва ли не четверть жизни, кто вынужденно, кто по привычке, ставшей увлечением вроде спорта, — уходящая в прошлое очередь нужды, очередь с карточками (когда хлеб, помните, давали с довесками), очередь вокзальная, с припадочным-эпилептиком, с чемоданами и детьми на руках, особый мир, со своей психологией и фольклором, со скандалами и драмами (а вы здесь не занимали!), с филологическими препирательствами насчет слов «крайний» и «последний», — человечество, выстроившееся в затылок, где движутся переступая, как в танце, и где на время становятся другими... Да что говорить!..

В такой-то вот очереди Андрей Поликарпыч, который свои старенькие галоши носил бессменно и повседневно, с детства имея к ним пристрастие, хватился вдруг перчаток. Обыкновенных перчаток черной кожи с матерчатой ладошкой. Похлопал себя по карманам, спросил у близстоящих: не видели? — и тут случилось так, что вся очередь единодушно показала на потрепанного такого, плюгавенького и явно нездешнего человечка в туристской штормовке, который прикатил в Нечайск, видите ли, специально, чтобы отхватить чью-то пару галош. Самое странное, что потом не удалось установить, кто конкретно и тем более кто первый выговорил обвинение: он взял, мы видели, как он к вашим карманам прилаживался, — именно вся очередь, весьма способная, как известно, быть единым действующим лицом, когда дрожь возбуждения проходит по ее хребту. Она требует своей сакральной жертвы, и выбранному на заклятие бесполезно (да и не пристало) роптать; тут совершается все по законам ритуальной стихии, где издревле сплавлены были кровожадность и комизм.

Даже та часть очереди, которая ничего достоверно видеть не могла (особенно же те, кто стояли сзади и не прочь были вытеснить лишних претендентов), прониклась этой уверенностью. Кроме того, указанный человечек слишком располагал к такому обвинению. Не то что он был похож на воришку, хотя одет был вполне вызывающе и непривычно для глаза: шапочка на манер турецкой фески, только с козырьком, куцая курточка и резиновые сапоги; дело в ином. Бывают, знаете, такие грибы, которые тянет пнуть прежде, чем разберешься, что это не поганка и даже, может, совсем наоборот. Юристы утверждают, что есть люди, предрасположенные быть жертвой; в самом виде и поведении их есть что-то, ну прямо провоцирующее на агрессию; этот был из таких. Ко всему, он повел себя не лучшим образом: вместо того чтобы держаться скромно и отвести обвинения, стал огрызаться иронически и даже презрительно, ставить из себя москвича, и в этой презрительности показался таким беззащитным, что доброхоты вызвались отвести его в милицию на предмет обыска. Спрошенный в милиции, зачем ему на столичном асфальте понадобились галоши, плюгавый не нашел ничего умней, как ответить, что галоши ему нужны не для асфальта, а для лазания, представьте себе, по скалам. Этот наглый ответ особенно возмутил

милиционера и представителей . очереди, которые по скалам никогда не лазили и не подозревали, что такое может быть правдой. На вопрос о месте работы он, кстати, тоже начал было острить, представившись лицом свободной профессии. Доверия это к нему не прибавило; как выяснилось, он был, правда, художником, но, должно быть, паршивеньким, ненастоящим, даже удостоверения при себе не имел и в доказательство мог сослаться только на свой этюдник, оставленный в гостинице. Нет, неприятен был этот человек, и что бы ему ни досталось — все поделом.

Что там еще было в милиции, доподлинно осталось неизвестным; не исключено, что на художника не только составили акт, но и впрямь его обыскали. Андрей Поликарпыч при этом не присутствовал. Он ушел из милиции в крайнем расстройстве после безуспешных попыток вмешаться и утихомирить страсти. Каково же он себя почувствовал, когда, придя домой, обнаружил перчатки во внутреннем кармане пальто! Он кинулся в гостиницу искать приезжего — но тот уже укатил из города с оскорбленными чувствами и без галош, столь необходимых для покорения скал. Кинулся в милицию — но прежний дежурный сменился, удалось уточнить только московский адрес художника, и Андрей Поликарпыч послал ему вдогонку телеграмму с радостной вестью о найденных перчатках и простодушными извинениями.

Как выяснилось потом, этой неосторожной телеграммой он особенно себе навредил. Потому что проезжий оказался вовсе не таким беззащитным, как можно было предположить по его мозглявому виду. Между тем сомнительное, нечаянное происшествие непостижимым образом стало известно в Москве, в авторитетных для художника инстанциях, прежде чем он сам туда вернулся, в результате чего его на всякий случай, до выяснения, вычеркнули из списка участников заграничной поездки, ради которой он так спешно из Нечайска укатил. Тоже можно понять. Не посылать же за границу людей, от которых, может, и у себя дома надо беречь карманы; на это место рвались и незапятнанные претенденты. Но можно представить себе и саркастические чувства самого художника. Нашелся знакомый журналист, увидевший в этой истории эффектное зерно для уже готового благородного фельетона, где речь шла о процветающем и воинствующем современном хамстве и, между прочим, о моральном праве некоторых горе-педагогов воспитывать подрастающее поколение. Телеграмма Андрея Поликарпыча упрощала проверку обстоятельств — и он попал в число главных его героев, оказавшись единственным неанонимным персонажем эффектного сюжета, а стало быть, главным зачинщиком скандала в очереди и даже инициатором самочинного обыска. Мимоходом в ироническом контексте была упомянута и пресловутая каменная баба, из чего в Нечайске заключили, что художник или автор фельетона были наслышаны о ней, а возможно, инкогнито разбирались и в каких-то других здешних обстоятельствах... И тут же как по заказу мысли об инкогнито дана была свежая пицца: как раз в день выхода газеты с фельетоном внезапно уехал квартировавший у Андрея Поликарпыча москвич.

Да, Максим Сиверс укатил вчера утром, будто с места сорвался. Он и в доме-то почти не бывал, даже обедать не заходил. Отец сообщил об этом кан-

дидату наук, с обидой пожимая плечами. Такой нюанс. Он как раз накануне, еще в воскресенье, успел-таки потолковать с Панковой о возможности устроить Сиверса в школу преподавателем иностранного языка. Лариса Васильевна выслушала его, как вспоминал он теперь, подозрительно и с недоумением. Теперь получалось, что Андрей Поликарпыч даже не знал об истинных планах своего недолгого постояльца, которого его же собственный сын отрекомендовал как близкого знакомого, журналиста и литератора. Как это следовало понимать? А так, может, и понимать: в духе все того же инкогнито, который уехал, завершив свою короткую таинственную миссию. Скажем, проверщик насчет фельетона: убедился, подтвердил по телефону: все верно, можно печатать, — и укатил. Присутствие его на литкружке подсказывало, что и самого сына Лизавина проверяли; но эта идея возникла чуть позднее. Раф Рафыч Небезызвестный-Бабаев многозначительно уверял на другой же день, что в воскресенье успел пожаловаться москвичу на незаконную попытку изъятия дачи и тот якобы обещал подействовать. Врал, скорее всего; но заготовленная на сей счет еще с пятницы резолюция на всякий случай оставалась пока без печати.

Недостаток прямой логики только обогащал логику подспудную. Падкость на слухи в городке вроде Нечайска связана с самолюбивой мыслью, что мы тоже не лыком шиты, умеем читать между строк и знаем скрытые пружины мира. Слово же печатное (разумеется, не в книге, построенной на выдумке и вранье, а документально-газетное) имело силу особую, почти магическую; даже собственные твои впечатления очевидца и участника были недостоверной тенью рядом с этим словом. Разве не это благоговение перед печатным словом побуждало самого Андрея Поликарпыча застеклять в рамочке вырезанные столбцы? И каково было выйти на улицу Нечайска герою всесоюзного фельетона! Ах, Антон его понимал, он сам знал этот испуг дикаря перед магией запечатленного на бумаге значка (значит, москвич укатил... почему? — а Зоя?.. — и сердце его стучало), хотя придавал своему голосу насмешливый, пренебрежительный тон: чепуха, все станет на место.

— Обсуждать теперь будут, — качнул головой отец. — Еще на пенсию уходят, вот в чем нюанс.

Он снял протереть очки. В беззащитных глазах его со склеротическими прожилками Антон увидел вопрос, ожидание и тоску. Кадык выпирал на петушиной шее. В провале внезапной тишины морщинистое лицо это с красным носиком легонько запрокинулось к небу, веки выпукло закрылись, оно лежало среди бумажных цветов, успокоенное, милое, всегдашнее... Антон испугался своевольной выходки воображения.

— Глупости: обсуждать, — сказал он. — Все же видели, как было. Он говорил искренне, но нежная, болезненная печаль уже кольнула его душу. Каждый приезд к родителям заново пробуждал в нем эту печаль, это неизбежное чувство вины перед их старостью, слабостью, уязвимостью, вины за свои болезни, за все страхи и опасения, за неоправданные надежды. Печаль, жалость и нежность связаны были с самим воздухом родного дома, с видом этих стен, потрескавшихся обоев цвета плохого кофе, крымской подушечки для иголок на гвозде, который постоянно выпадал и без молотка был возвращаем в ненадежное

расшатанное место, привычной пары стульев у стола: он и она; он был тощий, деревянный, напряженный, с высокой прямой спинкой, она вся мягонькая, низенькая, словно кушетка, с подушечками на подлокотниках; сколько их помнил Антон, они всегда стояли рядышком и, невзирая на далеко не юный возраст, касались под скатертью друг друга ножками. Однажды только между ними что-то произошло — он их застал в разных углах комнаты и даже спинками друг к другу. Они жили вместе уже полвека, никуда не ездили и о единственном в своей жизни путешествии, обо всей этой тряске и беспокойстве, вспоминали без всякого удовольствия...

— А хоть и на пенсию, — вступила мама, которая, прихрамывая, несла из кухни добавку для неожиданно приехавшего сына. — Чего плохого?

Она-то, уйдя из своей пекарни, почти не заметила перемены, только радовалась, что может перенести все свое усердие на домашние дела. В ее хлопотливой, переваливающейся, бесформенной фигуре, в бледной отечной коже что-то напоминало о тесте, хлебе, квашне, опаре, она всю жизнь излучала добрый теплый запах, который с детства, пожалуй, участвовал в формировании характера Антона. (С некоторых пор запах этот казался ему, правда, чуть кисловатым, как и нечаянский хлеб, но в городке этим хлебом гордились, за ним приезжали из деревень.) Мама слыла среди соседок особо умелой хозяйкой и ревниво поддерживала такую репутацию, тем более что по образованию была не совсем пара мужу, да притом с детства хромала, и кое-кто не прочь был почесать языки на тему ее замужества. Сосватала ее за приезжего, совсем тогда зеленого, учительшу известную в Нечайске сваха и сводня тетя Паша, смотрины она устроила так, что Андрей Поликарпыч до самой свадьбы не подозревал об изъяне будущей супруги. Когда он впервые вошел к ней в дом, невеста читала у окна книгу — не заметив от волнения, что держит ее вверх ногами, но доказывая почтение к образованности, которое у нечаянцев в крови. А когда он что-то заметил, свадьба была уже сыграна — тетя Паша свое дело знала. За годы совместной жизни Варвара Ивановна сумела убедить супруга, что осчастливила его и облагодетельствовала, без нее он бы пропал. Может, так оно и было. От нее Антон унаследовал увлечение кулинарией, а вместе с ним небрежливость и отсутствие предрассудков, ибо для женщин, которым приходится заниматься разделкою потрохов, праздными выглядят вегетарианские теории. Вообще ему смутно думалось порой, что домашняя женская работа сохраняет большую связь с какими-то природными, естественными потребностями и проявлениями — как пахота или жатва, — чем глубокомысленные, но в чем-то сомнительные занятия городских мужчин вроде писания статей, копания в архивах, формулах или приборах... Мама была старше отца; здоровье ее сильно пошатнулось после того, как от несчастного случая погиб их первый сын, старший брат Антона: они пробовали с соседским пареньком охотничье ружье и не заметили, что в стволе уже был заряд. Антон ярче всего запомнил обнаженный, уже юношеский торс брата, где вместо левого соска расцвел большой темно-красный цветок; страшно стало ему лишь потом — когда он услышал, как закричала, опадая на чьи-то руки, мама... При множестве своих болезней она была убеждена, что умрет раньше мужа, и время от времени напоминала Андрею Поликар-

пычу: «Умру я, что ты будешь делать?» Зная непрактичность обоих своих мужчин, она загодя отложила себе деньги на похороны, записала подробнейшие распоряжения на первое время их самостоятельной, без нее, жизни. Беспокоила ее опасность умереть не вовремя — в гололед, например. От озера 'к кладбищу дорога вела в гору, и был случай, когда машина, отвозившая по гололеду покойника, добавила к нему и сопровождавших, включая шофера. «Не бойся, в гололед я не помру», — считала она нужным заверить Андрея Поликарпыча; Антона же в летние или зимние каникулы успокаивала: «Не бойся, я тебе каникулы не испорчу». Казалось, ее удерживали только эти неудобства, бесконечные домашние хлопоты да тревога за младшего, единственного, много болевшего в детстве сына, которого она опекала слишком уж испуганно. Начав жить вдали от родителей, Антон испытал облегчение. Этот первый серьезный отрыв в его жизни, при всей своей заурядности, значил для него много; так расстаётся ребенок с утробой матери. Сколько расставаний ему еще предстояло! Его тянуло домой, но жалость, вина и печаль заставляли спешить обратно...

— Даже если что, — сказал Антон, — я сегодня же вернусь в город... сейчас прямо... попробую кое с кем поговорить. Все обойдется.

— Да, — вспомнил отец, — приятель твой письмецо тебе оставил. В оскорбленности он даже не хотел называть имя приятеля. Письмецо оказалось изрядно пухлым конвертом. Антон вскрыл его — там была сложенная пополам школьная тетрадь, исписанная вплоть до голубой обложки быстрым скачущим почерком. Антон засунул ее в карман пальто. Сердце его стучало, и он знал почему; он знал, куда его так подмывает спешить, спешить. Как застоявшийся конь, переминался он у дверей, пока мама загружала его портфель внеочередной порцией банок, и стыдясь, что родители угадают истинную причину его нетерпения.

## 5

Нет, он спешил не к автобусу — время еще было. Но он все ускорял шаг, поднимаясь дальше вверх, через центр, в сторону леса, к Тургеневской, куда два дня назад наведывался с Максимом Сиверсом... всего два дня? Порой он почти переходил на бег, хотя на подъеме это было и трудно. Встречный ветер шумел в ушах, наполняясь все более как бы трубным звуком. Звук этот чудился то нереально, то обретал видимость мелодии, которая скоро срывалась, однако, в хрип. Казалось, кто-то начинал пьяную руладу, но не хватало в легких воздуха. С приближением к Костиному дому звук прекратился. Знакомая калитка вновь открылась сама, вспыхнула на календаре надпись: «20 сентября», радиоголос провозгласил: «Хозяева дома приветствуют вас с супругой», и тут опять раздался, откуда-то с небес, залиvistый взлет и спазма трубы. Костя Андронов сидел над своим крыльцом, на коньке крыши, свесив вниз ноги в домашних тапочках, и, запрокинув голову, выплевывал из трубы своим дыханием сухие шкурки мух, дохлых паучков и прочий мусор, поселившийся в горловине за эпоху бездействия инструмента. Он сидел в высоте, как меднолицый бог, и несся спиной на-



встречу быстрым облакам, которые над его головой вздрагивали от трубных толчков, перемешивались и закручивались водоворотом.

— Надоело мне все, — оборотил Трубач к Антону крутые влажные белки глаз. — Надоело.

Взгляд его был бел и невидящ, короткие волосы приподняты над головой как бы электричеством. Вокруг него сиял белый ореол тоски, недоумения и гордости.

— Я лучше сыграю пьесу «Кончились белые ночи». «Кончились белые ночи», — повторил Трубач и, запрокинув в небо воронку, выдул несколько тактов знаменитого марша из сонаты си-бемоль минор Фридерика Шопена. — Надоело все, — объяснил он опять. — Я простой мужик, я этого не понимаю. Чего ей было плохо? И если даже плохо — можно бы и не так. Я ведь соображаю... не первый день...

Хитроумная антенна за его спиной напоминала причудливую мачту. Ветви бесплодного сиротского сада с разошедшейся пустой скворечней, теряя равновесие, неслись вслед за его вознесенным торсом сквозь пьяные ветреные небеса. Антона пробирал озноб; он впивался в трудную речь Трубача, сам словно хмельной, и боялся вставить вопрос: когда она?.. куда?.. оставила ли записку?.. и почему ты не кинешься вдогонку?.. Все было и так ясно. Соседи, давно с наслаждением глазевшие на Костю из своих дворов, потихоньку возвращались к делам. Это был озноб от сбывшегося предчувствия, знакомый суеверный трепет: жизнь опять показывала нос воображению; одно дело, когда она шла своей колеёй, позволяя фантазии уноситься без дорог и троп, — тут все возвращалось к нему, грозя столкновением, не позволяя увильнуть...

— Февраль она, — сказал Трубач. — Знаешь, что такое февраль? Это я такое ругательство придумал: не хватает, мол, у тебя. В феврале ведь дней не хватает. Я простой мужик. Как раз утром сегодня хотел поговорить...

(Сегодня! Значит, только сегодня?)

— А, надоело все, — заключил опять Костя. — Я лучше сыграю марш «Судьба играет человеком»...

Спотыкающиеся трубные спазмы подталкивали Антона в спину до самой Базарной площади. Сложенная в кармане тетрадка, толстая, билась у груди, и, едва пристроясь в автобусе у окна, Лизавин поспешил ее раскрыть.

## 6

«Антон! — было начато быстрым дерганым почерком. — Я понял, что уеду, едва расстался с тобой. И даже прежде, когда ты так непринужденно представил меня публике и я почти всерьез почувствовал себя самозванцем. Повод был анекдотический, и чувству этому надо было созреть. Весь последующий день в избытке обеспечивал его ферментами. Признаюсь в детской моей слабости: я всегда боялся оказаться смешным. Смешным и несостоятельным; но несостоятельный — уже взрослое слово. Если бы не было других причин, я уехал бы уже из-за этой боязни разоблачения. Ты мне удружил — говорю это всерьез. Я

благодарен тебе за возможность еще раз понять, насколько я самозванец — во всем.

Сегодня в кафе мне рассказали местную байку в духе твоего Милашевича. Якобы жил в Нечайске богатый самодур, который скупал у одного гончара на корню все горшки и тут же при мастере для своего удовольствия их разбивал. Дескать, жил? — Жил. — Дело делал? — Делал. — Деньги получил? — Получил. — Можешь жить дальше. А кончилось тем, что гончар пошел и повесился. Это тебе в литературное пользование. Недурной сюжет. Мне иногда, признаться, казалось, что Милашевич — нечто вроде твоего прикрытия или псевдонима, для безопасности и удобства. Надеюсь, ты это воспримешь не в обиду, наоборот. Но я все в сторону.

В том же кафе один алкоголик сказал мне, что я плохо кончу. И я вдруг почувствовал, что это очень похоже на истину. И гадалкой быть не надо. Я даже не позолотил ему ручку. Весь этот сумбур надо бы, конечно, объяснить. Сейчас. Надо бы объясниться — не только перед тобой, для самого себя сформулировать, наконец. Я, кажется, вдруг понял что-то, чего не понимал и тянулся понять всю жизнь. Только логика объяснений плоска и недостаточна. Как объяснить смущение, смутный страх, который я испытал, встретив еще раз эту женщину?.. Рядом с ней мне было так легко думать, что я испугался — поверь, не за себя. Самозванец, которому почудился вызов, — а вызывали-то не его, который рвется убежать от мнимостей, чтобы запутаться в еще больших. Всю эту предварительную невнятицу лучше пропусти. Проще описать продолжение анекдота, когда по пути в кафе меня перехватила известная тебе матрона и, цепко, хотя и почтительно взяв за локоток, стала подробно опрыскивать добродетельными ядохимикатами тебя, твой кружок, твоих поэтов, твоего отца, коллег твоего отца, а заодно продавщицу раймага Ключкину, которая припрятала от нее под прилавком три банки зеленого горошка. Мои попытки намекнуть, что я не журналист, не литератор, не инспектирующее лицо, вязли в вате ее подмигивающей уверенности: я знаю, разумеется, я в с е знаю. В другом состоянии я бы сумел привести ее в себя, но меня ослабляло все то же сознание: заслужил, самозванец. Все действительно разумно, как говорил, помнится, Гегель. Всякий анекдот имеет свое основание. И в кафе, куда я зашел пообедать (подозревая, что обижу твоих милейших родителей — гость-самозванец), терпел, как крест, как астму, как крапивную лихорадку, сперва одного, потом другого, которые подсаживались ко мне.

Один мечтал узнать, как я отношусь к Сергею Есенину, а кроме того, готов был бесплатно снабдить сюжетом для детективно-уголовного — и притом документального — романа. Другой этих сюжетов выдал сразу десяток, приглашал на семейную чашку чая и при этом даже, представь, упомянул про дочку. И все усердно, как взятку, подсовывали мне выпивку. Выпить все же пришлось. Однако сейчас (пишу ночью, воротясь) я совершенно трезв. Более чем трезв. Так изредка бывает после резкого ослепительного похмелья. Не сочти этот сумбур за откровения пьяного. Дай только собрать мысли, разогнаться. Вместо всех объяснений я лучше попробую воспроизвести как можно подробней самый занят-

ный, последний, разговор, который случился все в том же кафе за угловым столиком...

(Он пьян, пьян! он все же писал спьяну, — думал Антон с беспричинно бьющимся сердцем, торопясь продраться к главному сквозь толкотню подготовительных строк, сквозь беспокойные пунктирные намеки. Дорожная тряска еще более затрудняла чтение; две-три строки он, видно, потерял, но не стал возвращаться для их розыска.)

...попробую тебе его описать, возможно, ты даже узнаешь. Лет за пятьдесят, потрепанное лицо провинциального трагика, артистические пряди спускаются на затылок с высокого темени (или прямо с верхушки разросшегося до темени лба), картофельно-сливовый нос (картофельный по форме, сливовый по цвету). Словом, колоритный алкаш.

Когда я затруднялся в обращении к нему, он предложил: «Зовите меня маэстро». Началось с обычной просьбы о сигарете. При этом он долго и темно извинялся, что вынужден просить, вместо того чтобы курить свою трубку, которую от него кто-то теперь прячет под замок, — все это с туманным намеком, каким любит придать себе значительности известный сорт людей. Наверно, ждал любопытства к подробностям. Но у меня настроение было не то. От субъектов с такими носами прячут обычно не трубку, а бутылку, но угостил я его, разумеется, не только сигаретой. Он со знанием дела пояснил мне, почему обычный «сучок» здесь называется «горбылем», особо предупредил против адского коктейля, которым балуются тут любители (так называемое фруктовое вино, то есть тот же «горбыль», подкрашенный фруктовой эссенцией, смешивают еще со спиртом — действие, по его словам, сверхъестественное).

— Человек, хлебнувший даже малую дозу, фатально перестает получаться на фотографиях. Фатально, уверяю вас. Сколько его ни щелкай, на пленке выходит пустое место. Я давно уже не получаюсь... безнадежно. И вот официанточка, дуся какая... смотрит на вас сквозь меня, как будто я не существую в природе. Игнорирует... — (Я между тем заказал еще графинчик.) Говорил он, кстати, членораздельно, складно, порой с актерскими нотками, выпивка не заплетала ему язык. — Зато я и вижу многое, чего не видят другие. И не променяю это многое. Нет! Не променяю! Можете называть меня алкашом — я читаю ваши мысли. Да, я алкаю. Не лакаю, как некоторые считают... это филологическая разница. Я многого чего алкаю.

А сам все поглядывал на меня, выжидая поощрительного вопроса. Увы, после напряжения предыдущих спектаклей я просто с облегчением расслабился — преждевременно, как выяснилось. Ему и полукивка было достаточно.

— А фотографии почтения все равно не заслуживают, — продолжал он. — Что значит: видимый, существующий? Зачем нам с вами это? Разве самые прекрасные разговоры мы не ведем мысленно? И часто охотней беседуем с умершими, чем с живыми... Я имею в виду чтение книг, — пояснил он, явно довольный движением моего лица.

(Он сочиняет, — вдруг уяснил наконец Антон. — Литературный прием, способ высказаться. И умеет, оказывается! — вот оно как. А мне же намекает на псевдоним... Только откуда он взял подлинный портрет человека, которого ни-

когда не видел и видеть уже не мог? Обознаться нельзя. По чьим описаниям?.. по каким фотографиям?.. — Он боролся с нетерпеливым желанием перелистнуть несколько страниц, чтобы добраться до главного. Намек на это главное, возможно, прятался среди подробностей. Но когда ухаб стряхнул очередные строки, опять не стал заботиться об утерянном кончике.)

— ...Или, может, вы отменно трезвый человек? Пьете сейчас со мной и не пьянеете? Может, вы никогда не видели снов и гордитесь этим? И не помните своих детских страхов? Не испытали хоть однажды беспамятство, бред, жар, одержимость драки и любви? Вам не бывало без причин жутко в ночном лесу, вы не обливались слезами над вымыслом, не знали сбывшихся предчувствий?.. И так далее. Понимаете общий знаменатель?

— Наркотики, — добавил я.

— Ну... — он чуть поморщился, — тоже из этого ряда. Вы ухватили мысль. Сам не пробовал. Сомнительно для здоровья... и с точки зрения закона. Вообще химия — для слабосильных душ и умов, для тех, кто не умеет иначе. Как церковная бутафория для тех, кому не по силам непосредственно воспарить. Алкоголь — и то уже извращение, костыль. Но вы ухватили. Я рад. Я ведь хотел с вами поговорить и рад, что не ошибся.

— Именно со мной?

— Именно с вами. Пришлось даже вытерпеть очередь.

— Меня здесь все принимают за кого-то другого.

— Упаси бог, не заботьтесь о разъяснениях, — предупредительно выставил он ладонь. — Со мной-то зачем. Я ни на что не претендую, упаси бог. Так, чистое общение. Если и разорил вас на рюмашку — так потому, что мне самому тут уже не подают. Игнорируют. Вон, в упор не желают видеть. Но я со своей стороны, не подумайте...

Он неискренним жестом потянулся к карману, пришлось его успокаивать.

— Просто хочется поговорить с человеком, который способен понять. Я убедился наблюдая и слушая. В нашей дыре это редкость. Когда не выходишь на фотографиях — леший с ним. Но когда говоришь, а тебя не слышат... Вы уж не обессудьте за болтовню. Да. Трудно объясняться с людьми, которые не видят снов и считают это признаком особого душевного здоровья. Во-первых, они врут. Наука установила, что сны видят все. Только не все их помнят. Они даже зачем-то нужны для полноценного развития организма. Какое-то при этом вырабатывается вещество или гормон. Вроде как против рахита, только в духовном смысле. Неясно пока. Считают сон потерянным временем, сокращают его, мечтают заменить таблетками. А кто знает, где потеря и где находка?

Смотрел маэстро не на меня, а мимо, но иногда попадал в упор желтым зрачком. Станный это был взгляд, совсем не пьяный — отнюдь. Как будто с другого лица. Я все не мог понять этого впечатления. Тень рисовала ему под носом короткие усики.

— Вы, я вижу, готовы со мной согласиться и в доказательство вздремнуть тут же за столиком. Да?.. Я угадываю мысли. Не волнуйтесь, я не намерен читать вам докладов по теории сумеречных состояний. Хотя меня интересуе

чество и полноценность разных самочувствий. После встреч и разговоров в нашем прекрасном городке вы согласитесь со мной, что бывает и наяву чувство, будто живешь недостоверно. Не по-настоящему как-то. Вроде бы дела, подробности, отношения, и все вещественно, житейски плотно, с мебелью, с посудой, с выпивкой и всякими радостями жизни... А как будто пробираешься к чему-то сквозь неосновательный сон.

Мне начало становиться интересно. '

— Бывает, — сказал я. — Хотя при чем тут ваш город? Кому это не знакомо? Так чувствуешь иногда всю жизнь. И то если спохватишься оценить...

— Вот именно! — чем-то очень довольный, поднял палец маэстро. — Однако заранее<sup>1</sup> могу вас предупредить; умираешь все равно взаправду. Если у вас при себе блокнот, можете записать как народное изречение, потом проверите.

Мысль эта казалась ему явно ценной, он ее повторил. Некоторые свои слова ему вообще так нравились, что он смаковал их дважды...

(Это он обиняком в мой огород, — убеждался Антон Лизавин. — Спор вдогонку. Но зачем ему понадобился для него призрачный персонаж, мистика углового столика? И откуда к нему?.. не взаправду же совпадение?.. — Он слишком зримо представлял себе и это кафе с чайками и рыбами на стене, расписанной когда-то местным художником Звенигородским, и этот столик с сосновой веткой в вазочке, дымный воздух с ароматом тушеной капусты, обоих собеседников... Он опять утерял строку. На полях боком была втиснута вставка: «реакция свернувшейся улитки. Но для судьбы и здоровья нации...» Куда тянулась вставка, без терпения было не проследить, и Лизавин не усердствовал: вернуться потом. Он перелистнул страницу.)

— ...а как вы беретесь различать: вот настоящее, вот нет? — наседал маэстро. — Возможно, у вас загорается каждый раз лампочка, красная или белая? Или какой-то сигнал в ушах, как в миноискателе?

— Кашель, — пошутил я.

— Ну-ну! — принял он шутку. — То-то я слышал, как вы бухали, когда вас тут осаждали с аудиенциями. Могу теперь вполне успокоиться: со мной все в порядке. Хотя я и не получаюсь на фотографиях... ха-ха. Но допустим, даже всерьез. Допустим. Вы не читали такую историю: у одного посредственного немецкого литератора жена покончила с собой в надежде, что потрясение пробудит в муже гениальность? Подлинный случай, только фамилию забыл. И представьте, не пробудила. Возможно, он просто и не понял, зачем это она. Я нигде не смог уточнить, объяснила ли она ему предварительно. Или даже они так договорились? И даже его была идея? Тогда считайте, он сам ее убил ради торжества гениальности. Вы скажете: черт знает что! Какая-то искусственная попытка, имитация, игра. Да! Но страсть-то какая! И главное, смерть взаправду. Она всю нашу бутафорию высвечивает иначе. От игры теней тоже может разорваться сердце. Не пренебрегайте. Вы скажете: научимся различать — и станем как боги. Отнюдь. Отнюдь. И давайте, если не против, еще рюмочку, сейчас я начну волноваться.

Пальцы его с траурными каемками ногтей в самом деле дрожали, голос все чаще сбивался на пафос актера, читающего монолог Сатина в пьесе «На дне».

— Послушайте, — приступил он, набрав в грудь воздуха, — я вам расскажу про свою дочь. У меня была дочь...

— Была? — переспросил я. — А что с ней стало?

— Когда она была маленькой, — пренебрег он моим нетактичным вмешательством, — кто-то, представьте, объяснил ей, что сахар растет на сахарной свекле. Какой-то мальчишка. Она прибежала ко мне за подтверждением. И мне это понравилось. Понравилось. Это тронуло во мне струнку. Я сказал ей: посмотрим. И на другое утро она с восторгом позвала меня в огород показать, что на свекольной ботве действительно выросли кусочки колотого рафинада. Я не мог отказать ей в этой сказке. Вы осуждаете меня, я вижу по вашей усмешке. Но до технологических подробностей дошло бы и так. А я хотел, чтобы моя дочь была счастливейшей девушкой в мире. Пока я мог. Я всю ее жизнь выстраивал как сказку. Я хотел создать небывалое существо, как Пигмалион Галатею. Можете надо мной кривить свои губы, но я сделал ее жизнь прекрасной. Обманывая, я ее не обманул. Ей было хорошо. Я утверждаю, и дело не в подробностях. Я преступный честолюбец и Пигмалион, но не вам меня судить.

— С чего вы взяли? — не понял я его внезапной агрессивности. Тут нас, однако, отвлекло появление тощего старика в военном картузе без околыша, но со звездой. Он подошел к буфетной стойке, волоча по полу пустые сабельные ножи, туго подпоясанные поверх телогрейки. Буфетчица, видно, его знала; не спрашивая денег, налила кружку пива. Владелец ножен выпил стоя, поверх кружки обводя всех цепким презрительным взглядом, потом не менее презрительно скривил мокрые от пива губы, в сердцах сплюнул на пол и вышел, скребя по полу своей амуницией. Уборщица уже стояла наготове со щеткой вытирать плевков.

— Его тут все знают, — обернувшись, пояснил маэстро. — Застрял умом где-то в гражданской войне. Тоже устроился...

(«Тоже устроился» было зачеркнуто, взамен надписано: «Тоже артист»,- и этот поиск литературного стиля подкреплял подозрения Лизавина. Ишь какова притча! — но все же, но все же: откуда был взят сахарный куст, откуда угадан был этот памятный актерский голос, траурные каемки ногтей, которых не увидишь на фотографии? кто мог выдать ему все это так достоверно? И городской сумасшедший Федя узнавался доподлинно, без труда, и толстая официантка Люба, откликнувшаяся на очередной заказ москвича: «Не многовато уже? А то вон сами с собой..разговариваете», даже голос ее слышал Антон, и сцена беседы наполнялась непрозрачным правдоподобием.)

— ...«всерьез», «взаправду» — надо осмыслить эти слова. Ведь если всерьез вдуматься в это вот волоконец говядины, которое я выковыривал сейчас из зубов, если вспомнить и вчувствоваться, что я это волоконец знал добрым и нежным теленочком... му-у! в щеку он меня лизал... и прочее... если проникаться такой правдой на каждом шагу — ведь это повеситься. Жить станет нельзя, вы только вообразите! Почему-то нам это заказано. Вот эта денежная бумажка, в

которой воплотилось столько труда, надежд, страстей, лет, прожитых и выкинутых в трубу, — если эта скомканная условность взаправду попробовала бы все вместить, она бы в пепел обратилась! В пепел! как все мы. Нет, усмехающийся мой друг, с правдой и ложью почему-то не так оно просто. Жизнь зачем-то требует условности, обмана и самообмана, игры, искусства. А там дело за талантом. В пору моей юности я как-то сказал любимой женщине: только отвечай мне прямо, не играй со мной. Каков идиотизм! Какая в конечном счете пошлость! Это не так далеко от прямоты того малого, который попросту заявлял даме: я хочу видеть вас голой. Вот правда так правда. А мы всё лжем, мы говорим ей другое. Мы говорим, как прекрасно ее лицо, ее глаза. И она подозревает обман, о! потому что она лучше нас знает, что глаза у нее — ничего особенного. Иные, особо правдивые, даже считают долгом разубеждать: я совсем не такая. Но верят, всё же верят именно обману, называют его ослеплением страсти — и оказываются правы. Вот в чем истина, вдумайтесь! Зачем-то жизни нужна эта игра, с распушиванием перьев, уклончивостью, кокетством и танцами, как нужны брачные бои на жизнь и на смерть, как нужны все те же сновидения. Тут великая загадка, не до конца проясненная. Способность к красоте, игре и искусству зачем-то нужна для существования и развития жизни. В этом смысле все люди художники и различаются по силе способности.

— Bravo! — сказал я. — Почти что гимн, только не знаю чему. Поясните. Обману? самообману? искусству? праву на имитацию? на иллюзорную жизнь? Все слишком в куче.

— Иллюзорную? — Он уголком вскинул брови, наморщив над ними несколько складок — на весь лоб, карикатурно большой, морщин даже не хватило. — Тогда вы ничего не поняли. Я говорю о неизбежном и даже необходимом элементе иллюзии, условности, самообмана, умысла в самой серьезной и подлинной жизни.

— Возможно, возможно. Холодная женщина тоже имитирует любовные судороги не из одного притворства, ей самой хочется думать, что она умеет любить. Нечто близкое, хотя другими словами, мне излагал как-то один ваш земляк. На неизбежности он, правда, настаивал. У него скорей мысль и совесть намеренно не допускались чересчур далеко. Обрывались. Для спокойствия и сохранности своей, как выразились вы сказки. Только у него каждый старался за себя, а вы, как я понял, и для других готовы. И эстетики у вас больше. Но какие здесь все-таки нужны способности? За счет чего они даются? Вы не закончили про свою дочь. Каким все же образом и какой ценой ей удалось так счастливо сохранить...

— Оборванная, вы говорите, мысль? — не дал мне закончить маэстро. Он даже рюмку не донес до губ, вернул на стол — так дрожали его пальцы. — А какая наша мысль не оборвана? Какие слова вмещают все, что надо бы выразить? Все оформленное, конечное — уже обрублено, отграничено, чтоб им можно было пользоваться. Хоть как-то. Вы назовете это неполной правдой? На том сама жизнь основана, поймите же. Весь мир выделен из хаоса — это и есть акт творения, родственник искусству. Куску хаоса придана форма, видимость закономерности, остальное отсечено и отдано лукавому. Не случайно, уверяю вас! В

этом великий смысл. Эта уступка неполноте или, как вам думается, лжи равносильна красоте и самой жизни. Предельно подлинна лишь бесконечность, бесформенность, бездна, смерть. А нам жить велено. Может, вас за этот предел тянет? Вглядитесь в себя, в свой, как называете вы, кашель. С такой усмешкой, боюсь, вы плохо кончите.

— Может быть, может быть, - пробормотал я. Он меня оглушил, я был какое-то идеальное излучение озарило бы мир, но некому уже было бы им проникнуться.

— Вы плохо кончите! — Пьяный страдальческий взгляд маэстро теперь не отрывался от меня. — И дай бог, если один, если никто с вами не свяжет жизнь. Вы никому не принесете счастья, хоть это вы понимаете? И если у вас возникла такая мысль — бегите! еагсюда. Я преступный отец и Пигмалион, но если для вас что-то значит мов^длово — бегите немедленно!..»

## 7

Он уехал один! — вдруг ярко вспыхнуло в мозгу Антона Лизавина. — Бред, сумасшедший бред... но он уехал один. Читать дальше не удавалось, почерк становился все дерганей, конец выскочил совсем на таблицу умножения, строки здесь разбирались с трудом. Буквы и мысли подскакивали в тряске. Антон пробовал возвратиться к пропущенному — но окончательно терял связь; в нетерпеливое сознание ничего уже больше не ложилось, тем более что автобус приближался к станции и Антон всем напряженным телом помогал ему двигаться быстрее. Перечту потом, — окончательно решил он и возвратил тетрадку во внутренний карман пальто. — Ах, нелепый, несчастный клоун, натворил делов всего за два дня. Он, он! Если и я что приплел, так от его присутствия.

Местная электричка уже стояла на путях, обратный билет до города был в кармане — но кто подумает, что кандидат наук пошел напрямик туда, куда ему следовало идти, тот ошибется очередной раз, как ошибся бы на месте постороннего сам Антон. Зачем он направился не к электричке, а в здание вокзала? Какой отклонил его магнит? Он знал, он знал, можете не сомневаться, хотя отчетливой, словесной мысли еще не сложилось в его мозгу. Напротив, слова подсказывали совсем другое. Зачем тебе на станцию? — бубнил над ухом торопливый и, кажется, взволнованный голос. — Дурак, ну дурак! Ты хоть соображаешь, чего ищешь? Чувство чести, да? На дворянство потянуло? Романтики захотелось? Приключений?.. Да ты серьезней себя копни: ведь не хочешь. Ведь не хочешь ты ничего подобного. По совести. Кроме чести есть, между прочим, совесть, это не одно и то же. Честь бывает и у воров в законе. Для них карточный долг обязателен и смертью пахнет, а совесть отъедена. Кто тебе бросает вызов, что ты себя не слышишь?

А он шел нецелестремленным, как бы прогулочным шагом, не желая (или боясь) вступать в дискуссию, похлопывая себя по бедру тяжелыми банкками в портфеле. А вернее сказать, ноги сами несли его, не спрашивая, по пристанционному асфальту, где в тени держались с ночи заледенелые плевки. Путь этот словно был уже отрепетирован когда-то наяву, в воображении или во сне.



Ветерок был взволнован бередящими душу запахами. Лизавин шел, как бы утаивая цель от самого себя: дескать, так, просто гуляю, — чтобы вдруг поставить себя перед свершившимся фактом. Открыл тяжелую дверь, через небольшой зал, мимо скамеек, где уже дожидались вечернего московского поезда, — не оглядываясь даже ни на кого. Что ты делаешь? — в последнем усилии старался голосок; он забрался куда-то в виски, смешался с шумом крови. — Во что ты спешишь ввязаться? какое взвалить на себя обязательство, тревогу, неизвестность? Чем это обернется? Зачем тебе искать женщину, которая убежала из дома — не к тебе, ведь ты прекрасно знаешь, что не к тебе, хоть мимоходом и себе можешь приписать случайную роль. Все, что должно было произойти, уже произошло в воображении, которого он сам начинал бояться; его ли это было свойство, золотого ли паркеровского пера? или дело было в человеке, с которым отношения не получались иначе как всерьез? С вдохновением ясновидящего Антон перешагивал через ноги, обходил торосы чемоданов и узлов, направляясь к кафельной печке в дальнем конце зала, зная, что она там, почти предугадав даже вид ее: в фетровых бурках местной работы, в пальтеце на рыбьем меху — и то синтетическом (единственно теплым в этом пальто был, кажется, воротник цвета изморози, и она ухитрилась в нем спрятать пол-лица), с пальцами, красными даже в тепле, и со студенческим — нет, детским чемоданчиком, в который непонятно что могло вместиться, зато на нем удобно было сидеть, когда все места заняты... Ах, Антон Андреич, Антон Андреич! он мог ни о чем не спрашивать — да что бы она и ответила? но допустим: на дневной московский поезд не оказалось билетов, теперь она ждала второй. Да пусть и не московский. По тому, как она вскинула ресницы, увидев его перед собой, — без восклицания, без досады за помеху на пути, а, пожалуй, обрадованно — да, обрадованно, он понял, что женщина гораздо менее четко, чем он, представляет, что делать, — гораздо менее, чем можно бы судить по этой пленительной способности уйти из дому в чем есть, с символическим чемоданчиком в руке.

И потом, когда она уже ехала вместе с ним в городской электричке, он понял, что на нее произвела впечатление не столько его способность к пониманию, не нуждавшаяся в словах и объяснениях, сколько мужская его уверенность: он знал, что делать сейчас, сию минуту, он мог указать ей направление и кров, хотя бы временный. Настоящий, мгновенный испуг кольнул его уже потом, в вагоне, когда женщина-соседка попросила Зою подержать ребенка и та взяла одеяльный конвертик с такой трогательной неумелостью, без той словно бы врожденной женской сноровки, как будто она и в куклы никогда не играла. Испуг, нежность и жалость, каких он еще не знал в себе, пронзили его; что-то еще не испытанное входило в его жизнь, и сердце щемило, как у безбилетного пассажира, увидевшего в тамбуре контролера.

Поезд плыл среди весенних разливов. Земля была неустроенна и прекрасна. День заново праздновал очередной юбилей творения. Воздух неизвестно отчего ликовал. Столбы с перекладинами тянули руки, притворяясь, что хотят зацепить. Ветви проносились мимо окон, они были без листьев, но кожа их оживала, и стволы осин зеленели. Какое-то из окон в вагоне уже было открыто, горький угольный запах, свежесть воды и холода просачивались в настоящую

духоту ковчега, объединявшего сейчас вот этих людей, которые дремали, читали, покачиваясь в общем ритме, играли в карты, положив чемодан на колени; общим было сердечное биение стыков, и поезд нес их всех куда-то за изгиб земли, в расступающееся пространство.

## Глава третья

### 1

Вот бывает: как ни осмотрителен человек, но жизнь подстережет, подсунет непредвиденное — и не увильнешь, не уклонишься. То есть уклониться, допустим, можно, тут уж действительно вопрос чести. Но не так оно просто. Угодишь, скажем, на бедолагу, которому надо помочь, денег там дать или чего еще. Не застань он тебя в этот час дома, возьми несколько шагов в сторону, столкнись с другим, ты бы о нем и знать не знал, продолжал бы с чистой совестью деловое свое движение или заслуженный отдых. Но нет, навела судьба на тебя, и ты с покорным вздохом лезешь в карман — потому что тут именно судьба; это как угодить под трамвай или подхватить заразу из воздуха. Или, скажем, заметишь в семье калеку, больного, убогого от рождения — ничего не поделаешь, станешь нести свой крест. Хотя человеку более волевому и твердокаменному такие примеры покажутся, может, не наглядными, а главное, разнородными. Подхватить нам самим болезнь или нет, заметит он, — мы не выбираем и только можем позаботиться о профилактике, относительно же других людей распорядиться вольно по-разному. Тоже не поспорить, да и не надо; это так, к слову. В любом случае самый спокойный, незамутненный, отстоявшийся человек не всегда подозревает и не хочет подозревать, что у него на доньшке, пока обстоятельства не схватят, не встряхнут, не перемешают, словно предлагая осуществиться сполна и оправдать отнюдь не поверхностный замысел. Философы вообще утверждают, что с человеком случается в конце концов то, к чему он предрасположен. Это, говорят они, так же верно, как утверждение, что с человеком случается именно то, чего он боится. Ибо он боится как раз того, к чему предрасположен, и отсюда начинается судьба. Не ее ли дыхание раздувает порой затаившийся уголек тревоги перед будущим, перед темным простором, в который нас несет на закрученном волчке, на неуправляемом суденышке? — лучше не вникать в это, пока не припечет. И крикнуть бы «чур-чур», как в детских играх, когда последним усилием пробуешь ускользнуть от уже наступающего топота, объявив себя выключенным из игры. Но признают ли за тобой это право? Осалят.

На что рассчитывал Антон Андреич Лизавин, увозя со станции в город безответную и, заметим, не особо знакомую ему красавицу? Что вдохновляло его на такое несвойственное его характеру гусарство? Внятно бы он, пожалуй, вряд ли ответил. А что же его пресловутый внутренний голос? Он явно осекся от неожиданности, а может, и с досады, что не был принят во внимание. Да, диалог со здравым смыслом заглох, попросту был замят, так что можно сказать, Антон Андреич действовал вполне безрассудно. Однако не приходилось сомневаться, что скоро честный оппонент придет в себя и еще вставит не одно ехидное словцо.

На самое первое время у Антона были, конечно, конкретные планы, и Зою вез он, разумеется, не к себе, как кто-то, может быть, поспешно и легкомысленно уже вообразил. Не так это, знаете, просто. Нет, рассчитывал он для начала на тетю Веру, она в былые времена многим давала приют; а там будет видно. Старуха и впрямь приняла просьбу без удивления, Зою встретила как давнюю знакомую, которую по старческой слабости просто успела забыть. Спросила: «Ты чья?» — и, услышав от Антона фамилию, приподняла над очками брови, зашевелила губами, стала припоминать, высчитывать — и что-то ведь даже вспомнила. Этого было достаточно; лучшего слушателя для разговоров, которые она давно уже вела сама с собой, ей было не найти.

Но что же все-таки дальше? Антон Андреич подозревал, что о продолжении должен позаботиться сам. Нельзя сказать, чтоб он совсем не перебирал планов и вариантов, однако планы и варианты эти получались пока такие несолидные, с такими романтическими даже заскоками, с такими вольными намеками воображения, что передавать их как-то и неловко, тем более что они отвлекались от первостепенных реальных очевидностей. Ну, например: хоть на ближайшее время, а Зое как-то надо было есть, пить, готовить, а значит, выходить на общую кухню, наконец (не обессудьте за подробность), раздобыть и ключ от известного сарайчика. В любом случае ей предстояло столкнуться с соседками, которые, между прочим, до нее обихаживали и снабжали сидячую Веру Емельяновну. Ах, соседки! Про них кандидат наук меньше всего думал — и напрасно. Потому что, пока он успокаивался после бурных событий дня, лежа на застеленной кровати с никелированными шишечками и наполняя воздух радужными пузырями своих планов, они-то о нем думали — именно о нем, и как думали! Если ему не икалось, то лишь из-за опасной беспечности его натуры.

Поймут ли наши потомки, что такое соседка, да еще в русской провинции? Это парламент, Скотленд-Ярд и прокуратура, это стихийное явление, это общественное мнение и общественная инстанция, где скрестились традиции российских кумушек с нравами коммунальных квартир. Непосредственно у Антона Андреевича, в короткой части буквы Г, по Кооперативной, соседок не было, но со стороны тети Веры, по Кампанелле, — сразу две, и обе уличные активистки. Одна — Елена Ростиславовна Каменецкая, уже знакомая нам владелица Долли и бывшая актриса. Теперь это была одинокая пожилая дама, вся такая трепетная, с острыми слабыми плечиками, легкие косточки полны воздухом, как у птицы, лицо, издержанное на легковесные роли, совсем маленькое — не лицо, а личико, и улыбка — неуверенная обезьянка былого очарования. Все, что заполняло некогда ее жизнь, перемололось в муку, не оставив ни любви, ни привязанностей — кроме страсти к единственному близкому существу, Долли. Эта любовь и вдохновляла всю ее активность: со свирепостью, которой никто не мог ожидать от столь трепетного существа, она ограждала ближнюю территорию от бродячих собак, которые могли сделать с ее Долли что-нибудь нехорошее. Немного стесняясь открытой деятельности, она писала в разные инстанции анонимки с требованием уничтожить повсеместно и любыми средствами этих незаконных тварей. Когда в один прекрасный день она обнаружила, что, несмотря на неусыпный надзор, такса все же готова оцелиться (как? с кем?

когда она могла успеть? — и, между нами говоря, кто мог соблазниться такой уродиной?), Елена Ростиславовна пережила это как позор дочери. Она даже уехала на время из города, чтобы Долли разрешилась от бремени втайне. Тоня, которая про все собачьи дела знала, посмеиваясь, говорила Антону, что могла бы этой тайной шантажировать старуху. Да, уж Эльфрида Потаповна Титько много бы дала, чтобы о ней проведать.

Эта вторая соседка вызывала, как известно, у Антона Лизавина особые чувства своим мистическим сходством с Ларисой Васильевной Пайковой. Такое сходство иногда инсценируют в кинофильмах, где одна и та же актриса при помощи специальной техники может играть сразу две роли и даже при надобности встречаться сама с собой. Незначительные отклонения в костюме или причёске только подчеркивают при этом эффект. Антон, признаться, именно мечтал свести как-нибудь обеих вместе, но такой техникой он не обладал, а случая не было. Тем более поражало Лизавина, что, никогда не встречаясь, они могли говорить одними словами на одни и те же сюжеты. Так, однажды на улице Эльфрида Потаповна указала Лизавину удаляющуюся приятельницу, с которой только что нежно ворковала на тротуаре: «Видали стерву? Думаете, откуда у ней все зубы золотые? Она бухгалтершей на рынке работает». А через час он оказался с этой бухгалтершей в Нечайском автобусе, и усевшаяся рядом Панкова, попутно с ней облобызавшись, вскоре повторила и развила тему о рынке, о золотых зубах и о многом чем еще. Эльфрида Потаповна не менее своей нечайской двойняшки любила делиться с кандидатом наук жизненными наблюдениями, а иногда пыталась и привлечь его к активной деятельности. «Нет ли у вас, Антон Андреич, магнитофона? Я хочу артистку записать, как они со своей псиной на меня лаются. А то как заявлю в милицию, она отказывается. Только надо, чтоб незаметно. Есть такие магнитофоны, чтоб метров на десять записывали? Я б пятерки не пожалела, честное слово». Титько была из тех, кто больше всего на свете озабочен и сохранением закона и справедливости, и умела распознавать такие хитроумные лазейки, о которых бы никто не догадался. Со смаком рассказывала, например, она о молодой парочке, получившей жилплощадь на троих, так как жена успела обзавестись справочкой, что беременна на четвертом месяце. А едва ордер подхватили да въехали, тут она и скинула, теперь живут вдвоем на незаконных двадцати семи метрах, и поди прицепись. Такие ловкачи, умевшие устроиться, по-своему восхищали Титько, она отдавала им должное, но их торжество ранило ее, и, несмотря на цветущий вид, она чувствовала себя больной (как, впрочем, и Лариса Васильевна).

Все это Антон Лизавин знал, но в простоте своей даже не подозревал, какой переполох и тревогу вызовет у соседок легкомысленным своим поступком, в какое угодит им чувствительное место. Дело в том, что и Каменецкая и Титько имели виды, и виды не столь отдаленные, на жилплощадь старухи, с которой их связывал общий коридор, а также разнообразные отношения. Каменецкая — та была давней-давней воспитанницей тети Веры, то есть почти что родственницей, и, собственно, жила в одной из ее бывших комнат, через перегородку с заделанной дверью. Дверь можно было и пробить заново. Даже нужно было ее пробить, поскольку именно Елена Ростиславовна больше всего обихаживала

тетю Веру, готовила ей, ходила за продуктами. Не допустили трогать стену супружки Титько. Они, как ни странно, не были тети Вериными воспитанниками, но жили от нее через другую стенку и при своей роли в общественной жизни улицы прав на эту комнату имели не меньше. Излишне даже объяснять почему. Что же получалось теперь? Ход мысли Эльфриды Потаповны был, как всегда, пронизателен и неожидан. То есть неожиданным он мог показаться лишь тем, кто не ценил ее пронизательности. Кандидат наук, этот улыбчивый тихоня, который сам давно выдавал себя за дальнего родственника тети Веры, но виду о своих планах не подавал, теперь подсовывал в чужое гнездо кукушонка — не с прицелом ли вытеснить природных хозяев? С помощью неизвестно откуда вытащенной им девицы он примеривался проникнуть на улицу Кампанеллы не обещанным честным путем, а, что называется, с черного хода. Соседки не могли не предпринять мер — они обречены были заняться этим, отложив междоусобные распри.

Вот этой-то пронизательности кандидат наук не мог угадать. Утром по пути на работу он невольно вздрогнул, увидев необычную картину: Эльфрида Потаповна и Елена Ростиславовна стояли на углу, взявшись под ручку. До сих пор он видел их в такой дружеской позе лишь однажды, в сильный гололед. На носу Эльфриды Потаповны впервые были очки без оправы, неприятно знакомые Антону Андреевичу, и сквозь эти очки она проводила его долгим, ничего хорошего не предвещавшим взглядом.

А уж чего он подавно не ожидал — что события развернутся так скоропалительно. По пути в институт он еще редактировал варианты объяснений своего вчерашнего прогула — а между тем оправдываться уже было излишне: на кафедре знали все и даже сверх того. Доброжелательная Клара Ступак по секрету показала ему два пришедших только что письма. Одно было городское, другое из Нечайска, и оба написаны совершенно одинаковым безликим почерком, каким пишутся анонимки. К обоим прилагались вырезки пресловутого московского фельетона, а речь в обоих шла об Антоне Лизавине, причем в выражениях весьма близких. В Нечайском говорилось о недопустимо безыдейном направлении литературных занятий, на которые их руководитель, кандидат наук, приходит к тому же с явными признаками опьянения, и упоминалась возмутительная борода. В городском насчет бороды тоже было помянуто и намек на любовь к выпивке имелся, но главный упор был на аморальном поведении кандидата наук, каковое выразилось в подселении по соседству молоденькой девицы при неженатом состоянии и без прописки.

— Ну и язычок, — не без труда вник в суть Лизавин. Труднее всего было понять мистическую быстроту событий, не объяснимую даже реактивными скоростями века.

— Антон Андреич, — скорбно попросила Клара, — вы только реагируйте не так. А то на кафедре философии тоже, знаете, был аспирант, чуть что — возмущался, шумел. А потом оказалось: сумасшедший. Вас должны в мае утверждать на доцента. Надо продуманней...

О господи!.. доцентство, жилплощадь, фельетон, отец... вокруг него разворачивается небось свое дело. Все это было так вздорно, призрачно, нереально —

казалось, невозможно заниматься этим всерьез. О чем хлопотать? что опровергать? — выждать время, и морок сам по себе рассеется, рассосется. До сих пор ему вообще не приходилось хлопотать о чем-либо по-настоящему всерьез. Сам он не лез в анекдотические столкновения с жизнью, и бог миловал, а юмор и уклончивость позволяли их избегать. Обычно все шло и устраивалось само собой, немногие испытания вроде экзаменов, защиты диссертации были тоже скорей водоворотцами, порожистыми местами в неизбежном потоке, требовавшими лишь напряжения в основном привычных усилий. Пожалуй, со школьных лет в нем задержалось невзрослое ощущение, что старшие, если надо, за него разберутся. Но теперь эти старшие смотрели на него слезящимися, в кровавых прожилках глазами, смотрели беспомощно и с надеждой — он был опорой, и надо было шевелиться самому.

## 2

Обещая отцу кое с кем переговорить, Лизавин имел в виду прежде всего Тоню. При своей практичности и разветвленных знакомствах она первая подсказала бы нужный ход. С ней надо было вообще поговорить и объяснить — о Зое не в последнюю очередь; Тоня уже наверняка знала о ней не от него — и можно себе представить, в каком изложении! Сразу после работы, получив зарплату и умело разминувшись с начальством, Антон направился к ней. Но у самой девятиэтажки, под новеньким плакатом, который призывал граждан улицы Кампанеллы в ближайшие тридцать дней не попадать под машины и тем способствовать успешному ходу месячника по безопасности движения, его окликнул Титько. Он подкатил к нему мелкими плавными шажками и, как корабль, толкнулся об Антонов живот маленьким круглым пузом.

— Представителям научной и творческой интеллигенции... приветствую, приветствую! Чрезвычайно кстати! Давненько мы не беседовали — как вы считаете?.. по взаимно интересующим проблемам...

Здесь надо заметить, что Антон Андреевич с Титько не беседовал до сих пор никогда ни по каким проблемам. Разве что, помнится, случайно как-то они очутились в общей группе, где рассказывался математический анекдот, причем Титько почему-то ужасно смеялся над словом «многочлен» и долго мотал головой, отирая платком слезы и грозя рассказчику пальцем. Однако намек был вполне прозрачен, а Лизавин в своей нынешней уязвимости и растерянности считал себя не вправе упустить даже шанс, заключавшийся в словах «кто его знает? а вдруг?», и как-то уж вышло так, что они легким незаинтересованным шагом направились прямехонько к ресторану «Европа». Очень было действительно кстати, что сегодня день полочки. Титько одними пальчиками снизу поддерживал Антона за локоток, напоминая ему повороты, и журчал на какие-то необязательные темы. Подобно своей супруге, а также Ларисе Васильевне Панковой он мог вести диалог за двоих:

— А отчего у вас вид такой усталый? Неправильно отдыхаете, да? Я тоже всегда считаю, что отпуск нельзя проводить в городе. Ни в коем случае. И досуг надо распределять, не все же дела, верно я говорю?.. посидеть иногда за бесе-

дой. У иностранцев, между прочим, провести отдых в ресторане — обычное дело. А мы не привыкли.

На нем был костюм из букле; фактура и цвет его почему-то вызывали у Антона неприличные сравнения; а впрочем — это был цвет баклажанной икры. Было видно, как этот костюм любит стоять у зеркала, поворачиваться так и сяк. Титько истолковал взгляд Лизавина по-своему, стал объяснять, почему имеет больше смысла покупать дешевые костюмы, которые носятся сезон-другой, а потом все равно выходят из моды.

— Вот видал у меня черный костюм? — незаметно перешел он на «ты», — хороший, я за него сто шестьдесят рублей отдал. Ну, не хороший, а неплохой. А теперь носить нельзя, борта вот такие. Отдать в переделку — еще тридцатка. Поэтому я лучше куплю вот такой, за восемьдесят. У меня кроме этого еще пять костюмов: значит, этот черный, с такими бортами, потом серый... нет, шесть...

— Англичане говорят: мы не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи, — предупредил его очередную фразу Лизавин, и действительно, английская сентенция не замедлила последовать. Кандидат наук уже начинал предчувствовать бесполезный, унижительный сценарий этого застольного сидения — разумеется, за его счет, и злился на свою слабость. Титько между тем, расположившись, с живым интересом изучал карточку.

— Выпить, конечно, возьмем? Мы не у себя на улице, здесь можно. Так... что я тут не пробовал? Коньяк, «Салхино»... это все не то. А вот тут неразборчиво: «Са-бан-тель», так, что ли? Что это такое? Египетское или, может, французское? Надо спросить официантку, пусть только принесет не в графинчике, а бутылкой, мне этикеточка интересна. Должен тебе сказать, я стараюсь никогда не брать одно и то же. Каждый день должен приносить что-то новое. Жизнь должна быть богата — да!.. чтоб перед смертью нашлось что вспомнить.

Титько откинулся на спинку стула.

— Вот так станешь перебирать: чего я только в жизни не перепробовал, чего не видел, где не бывал. В Европе бывал, в Азии бывал, — начал он загибать короткие толстые пальцы. — Итого уже на двух континентах из шести. В странах народной демократии бывал. Моря видел: Черное, Балтийское, Каспийское... да! — Тихий океан... ну-ка посмотрим, что за бутылочка? Ты по-иностранному читаешь? Это чье изделие? Египет, я угадал? Как бы тут отцепить этикеточку... Ну, закуску пока еще принесут, давай на пробу. За мирное сосуществование и взаимный интерес... Да. Ничего. На травках каких-то горьких. Грузинскую кухню ел, молдавскую ел, чешскую ел. Даже трепангов китайских в ресторане пробовал. Гадость, между нами сказать, но для полноты жизни — да. Устриц тоже едал.

Крепкая африканская настойка, сверх ожидания, быстро отозвалась в Антоне.

— И вот что при этом удивительно, — не удержался он.

— Что? — прервал перечень Титько, принимая от официантки салат.

— Что удивительно... — пробормотал, теряя решимость, кандидат наук; интеллигентность мешала ему договорить и впрямь достойную размышления



мысль: что дерьмо в результате все равно получается одного цвета. Но, возможно, что-то невольно и выговорилось, потому что Титько вдруг вернулся на «вы»:

— Я вас не совсем расслышал?

— Нет... я ничего, — окончательно стушевался кандидат наук. Его собеседник сосредоточенно принялся дегустировать салат.

— Я вот что, между прочим, хочу вам сказать, — прервал он наконец разбухающее молчание. — Высокомерия в вас много. Образование, то, другое — все это, конечно... сами не безграмотные. Но другие, между прочим, ничуть вас не хуже. И не глупее. Потому что есть жизненные университеты. Это вам не литература. Жизнь, я говорю, — не литература.

— Да о чем, собственно, речь? — пожал плечами Лизавин.

— Не понимаете? — саркастически усмехнулся отставной капитан. — Ну что ты смотришь на меня своими невинными голубыми глазами? — опять сбился он на более проникновенное «ты», но в этом «ты» был уже новый, грозовой, оттенок, заставивший Антона Андреевича отвести взгляд, хотя глаза у него были не так уж чтоб ярко-голубые. — Не надо из себя ставить... не надо. Что ты кандидат наук, так это — тьфу! Ты еще жизни не видел. Не видел, понимаешь? Что ты знаешь? Бывал в местах, куда Макар телят не гонял? Тружеников великих строек видел? Тебя еще петух жареный не клевал. То-то!

Еще несколько значительных мгновений он молча смотрел на кандидата наук маленькими зрачками, и человек более опытный, чем Лизавин, заглянув сейчас в эти зрачки, заподозрил бы, что уж Титько в упомянутых местах бывал и еще неизвестно, в каком качестве... Что ж все это такое, — думал Антон. — Чем я вдруг стал задевать людей, мимо которых раньше проходил как намыленный? Точно от меня исходит теперь зараза беспокойства. Подхватил! и я, и отец, и Зоя?.. Почему во мне самом нет прежней неприязнительности взгляда? Разве дело в том, чтобы презирать или ненавидеть этого пожилого студента с розовыми губами и крашеной сединой, столь недостойного своих лет! он перед смертью готовится итожить не то, что постиг в жизни, а то, что в ней перепробовал, — не подозревая, в какое отчаяние способна привести мысль, что неиспробованного осталось неизмеримо больше. Что поделаешь, раз он таким уродился, раз у него судьба сложилась иначе, не получил он такого образования, не прочел тех книг, что я. Э, при чем тут судьба, книги и образование, — опроверг он сам себя. Не в них дело. А дело в том, что я готов терпеть его больше, чем он меня, бог с ним. Разве только поморщусь иногда. А он меня при возможности и при надобности с кашей съест. Да и без каши не станет привередничать. Я ему чем-то больше мешаю. Чем? Он говорит со мной, как будто я неосторожно оказался у него в руках. Раз человек допустил, чтобы с ним произошла неприятность, и не нашел ни влияния, ни способностей предотвратить их, он заслуживает всего, что только может за этим последовать. И самое смешное, что я за выпивку расплачусь, он в этом не сомневается. Хотя о чем все эти намеки? что, если вспомнить, произошло? Именно: жареный петух клюнул. В выражении этом была вся нелепость происшедшего — что может быть нелепее человека, которого клюнул жареный петух?

Дотянуть трапезу до конца было делом тягостным, Антону кусок в горло не лез, да и пить не тянуло. Титько, впрочем, великолепно справился сам и с салатом, и с твердыми шницелями, и с остатками экзотической настойки. Это под конец вернуло ему благодушное настроение. Когда официантка принесла счет, он даже похлопал себя по карманам, вспоминая, в каком из них его деньги, но, разумеется, успокоенный на сей счет кандидатом наук, прожурчал на прощание:

— Я, поймите меня, хочу по-хорошему. На основе взаимности и сосу... — трудное слово на этот раз оказалось ему непосильным, и он лишь сытно, умиротворенно икнул.

Еще не поздно было заглянуть к Тоне, но Лизавин решил, что сегодня, видимо, не судьба, — хотя сознавал, что каждый день отсрочки добавляет сложностей. Он собирался еще занести продуктов тете Вере и Зое. Магазины уже были закрыты, он взял кое-что из домашних припасов да три банки маминых гостинцев: грушевый компот, малиновое варенье и соленые огурцы. Оказалось это очень кстати, ибо Каменецкая в тот день, как выяснилось, не заглянула и старуха с гостьей обходились случайными остатками. Зоя весь день почти и не сходила с кушетки, где ей было постелено, — пояснила тетя Вера Антону — шепотом, потому что Зоя уже спала. Она прикорнула не раздевшись, ноги были укрыты легоньким одеялом. Антон понимал это состояние, это желание сжаться в комочек, уткнуться, как зверек, в собственное брюхо и не шевелиться, чтоб не потревожить неподвижного тепла, чтоб его тонкий слой у тела не перемешался с другим и в нечаянную щель не ворвалось холодное дуновение. Хотя ему не приходилось убегать из дома, он знал эту потребность в спячке, чтобы переболеть, чтоб как-то пропустить время и предоставить ему самому что-то решить. Реакция свернувшейся улитки, — вспомнил он, — спрятаться в своем домике от болевых прикосновений... Антон впервые видел ее спящей. В спящем человеке всегда проступает что-то детское, беззащитное. На припухших приоткрытых губах запеклись белые корочки, в уголке натекла слюнка, спутанные легкие волосы затеняли щеки, лицо было расслабленно и спокойно, дыхание беззвучно. Подглядеть бы всех спящими: дети, верно, дети, права тетя Вера, несчастные, сбитые с толку дети. Чего только не сделают друг с другом и с самими собой — не из злости, а черт знает из чего. Антону захотелось дотронуться до ее руки, выпроставшейся из-под одеяла, вновь ощутить знакомое сухое тепло. Но он застеснялся старухи. Нежность наполнила его, как будто он уловил наконец слабость спящей, и от этого она стала ему ближе, понятней — как тогда, в вагоне, когда неумело брала на руки чужого ребенка. И никакой загадки не было — потерянная девочка без папки и мамки, трогательная до кончиков смеженных ресниц.

— Ну, ты — молодец, — значительным шепотом, чтобы не разбудить женщину, говорила ему тетя Вера. — Я-то думала... а ты! ишь какую выискал. Умница такая! Воспитанная!..

Что она имеет в виду? — удивился Антон. Как легко показаться умной! Можно было подумать, что старуха не заметила за весь день ни молчанья своей гостью, ни каких других странностей. Неужели так сама с собой и пробормота-

ла? Или что-то слышала в ответ? — мелькнула странная мысль. — Может, она говорит, только не со всеми? Бывает так...

Вернувшись к себе, он для чего-то извлек тетрадь с золотым тиснением, раскрыл ее на странице, вверху которой обрывался конец перенесенной фразы: «...и апрель то хмурился на солнце, то запахивался на холодном ветру». Над этими строками по совпадению значилась иностранная календарная надпись: «апрель», и это непрошеное приглашение к дневнику весьма не понравилось Лизавину. Чтобы сбить с панталыку самовольное повествование, он пустился на трюк и передоверил свое золотое перо собственному герою, сделав его сочинителем некоего придуманного сюжета. Имя он ему оставил, но внешность, которой до сих пор не описывал, загримировал дай боже: бороду сбрил, оставил зато усы и даже об очках постарался. Этот вымышленный Антон Лизавин мог теперь вполне беззаботно описывать дареным пером чудака, вообразившего себя влюбленным. Забавней всего автору было, что догадался он о своей влюбленности не сам, а по подсказке, да, можно сказать, и влюбился по подсказке, что, впрочем, в литературе, как и в жизни, случалось не впервые. Антон Лизавин (но не наш Антон Лизавин, а тот, другой, без бороды и в очках) даже напомнил своему смущенному герою классические примеры. Иногда, заметил он, надобно слово поэта, чтобы понять себя самого... Трюк удался на славу, но Лизавин (теперь уже наш) быстро устал. Он лег спать и заснул мгновенно.

И во сне он ничуть не удивился, когда в комнату его не постучавшись вошла Зоя. Он точно, засыпая, уже этого ждал. И совсем даже не удивился, когда она с ним заговорила. Я, сказал, давно догадался. И голос узнал — тот самый. Он ей рассказывал о хитром и забавном своем сюжете; она улыбалась, и говорить ей все равно было необязательно. Говорить — это было его дело...

Он проснулся с сумятицей в душе, с каким-то даже протестом. Ни вставать не захотелось, ни возвращаться в сон. Удобная постель сжилась с телом, вся его воля перешла в нее. Захочет, чтоб я лежал так, — буду лежать, захочет, чтоб встал... Нет, этого она не захочет. Глупости, сказал он сам себе, надо все-таки просыпаться. Просыпаться, вставать, приступать к действию. Это неизбежно даже для человека с самой ватной волей. Сколько ни медли, ни оттягивай, ни залеживайся, есть вещи неизбежные. И медлить-то нельзя, что-то может вдруг произойти, уже происходит. А не успеешь, она исчезнет и отсюда, из этого дома...

Интересно, что ты имеешь в виду? — очнулся вдруг после долгой летаргии голос внутренней честности. — И что все эти мысли значат? Исчезнет так исчезнет; решится само собой. А вот к Тоне действительно поспеши — потому что жареный петух уже клюнул. Клюнул, говорю, жареный петух.

### 3

Перед работой Антон успел наскоро забежать в магазин и даже кое-чего приготовить на обед тете Вере и Зое. Зоя прибиралась в комнате, она улыбнулась вошедшему Антону, а он заспешил уходить, точно в самом деле хотел лишь удостовериться, все ли на месте. Взбредет тоже в голову! Все нормально,

она приходит в себя. Образуется как-нибудь. Он обещал после занятий заглянуть и заняться хозяйством поосновательней. Из кухни его проводили взглядом соседки, и беспокойство тотчас ожило.

По удачному совпадению ему и на этот раз удалось не встретиться с начальством — неприятности откладывались. Но небольшое событие все же произошло — потерялась среди бела дня его замечательная авторучка. На кандидата наук эта пропажа произвела впечатление суеверное, почему-то проще стало на душе. Он сам удивился. После занятий он собирался еще быстренько зайти в баню, где как раз был мужской день, — но там задержался сверх ожидания долго, потому что вдруг встретил знакомого — журналиста Семена Осиповича Волчека.

Давно, когда Антон был еще школьником, Волчек работал литсотрудником в «Нечайских зорях». Это был журналист класса отнюдь не районного, он занимал прежде в Москве довольно видные должности. Подразумевалось, что он сильно погорел, на чем — боялись даже спрашивать. Однажды в приступе случайной откровенности Волчек поведал Антону, что с ним-то как раз ничего не было. Просто однажды выдался (так он выразился) год, когда неприятности особенно густо стали косить его коллег, одного за другим; было явное чувство, что очередь подбирается к нему. Жена в ту пору от него ушла, он остался один — и вдруг сорвался с места, как муха, которая не заботится о том, чтобы дочистить лапки, если даже в отдалении мелькнула тень угрозы. Достаточно оказалось намек на вакансию в дальней районной газете. Тень тенью, а в Нечайске он застрял на дольше, чем сам когда-либо думал. Это был человек преувеличенной осторожности — даже в пору, когда крутые времена, казалось, минули. Возвращаясь из любых поездок, он долго хранил, например, билеты и прочие доказательства своего пребывания в чужих краях — на всякий случай, для алиби: вдруг в его отсутствие что-нибудь случится и на него подумают. Как ни смешно, неприятности на него обрушились именно за публикацию, пропущенную во время его отпуска. Какой-то столичный журналист одно время снабжал «Нечайские зори» заметками для рубрики «Знаете ли вы?»; была там, например, история, объяснявшая происхождение пословицы «С волками жить — по-волчьи выть» — про мальчика, который не то в шестнадцатом, не то в семнадцатом веке попал в стаю к волкам и не только научился выть по-волчьи, но даже оброс волчьей шерстью. Есть халтурщики, которые для заработка регулярно рассылают такие опусы сразу в несколько захолустных газет; там все проглатывалось. Однако тут спустя срок сам журнал «Крокодил» в лице знаменитого Глеба Скворцова специально откопал сей факт, чтобы высмеять доверчивых провинциалов. Вот в этот-то момент Волчек случился, увы, на месте, и, поскольку на критику в центральной прессе полагалось ответить принятыми мерами; жребий, то бишь выговор, пал на него — билеты, подтверждавшие алиби, не помогли, да он и оправдывался с опаской. В вечер после выговора на дому у Семена Осиповича погас свет, он кинулся к телефону; а воду тоже будут отключать? Однако нет худа без добра. Несправедливость сдвинула его наконец с места, заставила покинуть Нечайск и райгазету, он прекрасно устроился в газете областной, а мог бы, глядишь, и в Москву вернуться, но сам теперь боялся

чрезмерных нагрузок на сердце. Он много чего боялся, перечисление заняло бы страницу, и не одну. Так, не было ничего проще, нежели отменить встречу с ним, — достаточно было чихнуть или кашлянуть по телефону; он отстранял трубку, точно зараза могла передаваться по проводам, и сам находил предлог. При этом был умница, тихий, затаившийся наблюдатель, все про всех знал; люди, которым он изредка открывался, говорили о нем уважительно: при таком росте — такая голова! Фамилия с уменьшительным суффиксом на редкость соответствовала его внешности; это был очень маленький человек с лицом мальчика, который постарел, не успев возмужать (морщины, плешь, мешки под глазами, а губы пухлые, детские), и сколько его знал Лизавин, он все уменьшался в росте.

Услышав среди банного гула и грохота шаек, что его окликают по имени, Антон долго оглядывался, выискивая кричащего, и даже вздрогнул, увидев его прямо перед собой. Он не представлял, что можно уменьшиться до такой степени. Волчек сидел в большом банном тазу, как ребенок, с ногами. Даже при его миниатюрности непонятно было, как он ухитрился их поджать. Казалось, ног у него вообще нет — таз заменял нижнюю часть туловища, и хотелось заглянуть под скамью, чтобы, как у ловкого фокусника-иллюзиониста, обнаружить недостающее.

— Антон, боже мой! Вы совсем взрослый мужчина, — приветливо улыбался из таза маленький журналист. — Только здесь, в бане, видишь: совсем взрослый мужчина. Я привык смотреть на вас как на мальчика. — Он бесцеремонно разглядывал наготу Лизавина. — Таких натурщиков любили рисовать передвижники: борода, белый живот. Еще бы нательный крест... Да вы устраивайтесь рядом, вон как раз шайка освободилась, хватайте, пока не взяли... Чем вы так озадачены? А, моей позой? Система йогов, дорогой мой друг, удивительно повышает тонус. За последние пять лет — ни одной простуды...

Про фельетонную историю он, разумеется, знал, поинтересовался, как чувствует себя Андрей Поликарпыч. И пока Антон устраивал себе место, ошпаривал деревянную склизкую скамью, добывал овальную шайку для ног, Волчек объяснил ему, что при всей анекдотичности дела свернуть его не так просто — он испытал на опыте. Комизм таких пустяков как раз и состоит в том, что проще дать прокрутиться всему кругу и создать хотя бы видимость мер, чтобы потом свести все на нет. Но добро, если за это возьмется умный человек; а то ведь, пока суд да дело, нервов и здоровья не вернуть.

— Вы считаете, надо и вправду что-то предпринять?

— Пока не поздно, и на самом серьезном уровне. Вы с Петром Гаврилычем не говорили?

— А кто такой Петр Гаврилыч? — не понял Лизавин, хотя имя показалось ему знакомым. Волчек засмеялся, и Антон тут же устыдился своего вопроса: Петр Гаврилович был отец Тони. Имя его почти не звучало в квартире, и, как уже упоминалось, Антон даже не знал толком, кем он работает, хотя догадывался, что на должностях влиятельных. А маленький сморщенный журналист, выходит, знал и про Тоню. Невинность кандидата наук очень развеселила Семена Осиповича; колыхание его животика устроило в тазу небольшую бурю.

— Занятно, ха-ха-ха... занятно. Однако есть в вашем неведении свой смысл. Должность Петра Гаврилыча действительно можно не знать. Достаточно того, что он Петр Гаврилыч. Назовем его референтом — что это добавит? Какую бы должность он ни занимал, она будет лишь приложением к его имени-отчеству.. Ибо Петр Гаврилович, любезный юноша, прежде всего лучший в городе преферансист. А может, и не только в городе. Это чудо искусства. Вы не играете в преферанс? Тогда не знаю, как бы вам это объяснить. У него феноменальная способность приводить игру к нужному результату. Не выигрывать, это слишком просто, таких умельцев много. Нет, при желании он может не выигрывать, не проигрывать, оставаться, как говорят, при своих, но направлять игру так, что выигрывают и проигрывают именно те, кому надо. Причем тоже в меру, без трагедий и драм. Но если понадобится, и трагедию организует, и, если угодно, сенсацию. И сюжетец будет увлекательный. Там от себя отдаст картишку, помещает чужой взятке, все сбалансирует... нет, и себя, естественно, не обидит. При самом случайном раскладе, без передергивания — я уверен, что без передергивания, — ему можно заказывать результат. Фантастика, преферансист бы оценил. Но я вас хочу подвести к более общему пониманию. Что означает, в принципе, такая способность помимо того, что он незаменимый человек в компании? нужный, полезный человек? Что представляет собой такого рода искусство как модель?

Политику, любезный мой юноша, то есть умение ввести в общеудобное русло разнообразные и противоречивые устремления.

— Общеудобное? Но от кого-то он и берет, — заметил Антон Андреевич, как раз в этот момент густо намыливший голову. Мыло попадало ему на губы, и он говорил отплевываясь. Голос маленького журналиста доносился не сбоку, а прямо откуда-то из-под гулких банных сводов.

— А как же! — обрадовался реплике Волчек; сидение в тазу по системе йогов и впрямь на глазах подогревало его тонус, как в градуснике. — Кто-то должен и проиграть. Так устроена жизнь, увы. Но и проиграть можно заслуженно, по чину, по мерке: на другом наворачиваешь. Тут переливчатое равновесие. Я знаю, молодые горазды судить о тех, кто вершит делами. И то они устраивают не так, и в этом далеки от идеального принципа. Я сам могу на эту тему наговорить... кто не может? Но видите ли, в чем весь гвоздь. Если бы вы, Антон Андреевич Лизавин, кандидат всевозможных наук и прочая, и прочая, со своим окладом, умом, со своими вкусами, получили власть устроить жизнь по самым вашим благим намерениям — к чему бы это свелось? Вы бы сделали жизнь удобной для таких, как вы, — то есть достаточно способных, умных, здоровых, добродушных, непритязательных. Вы завистливы? — если нет, уверяю вас, вы не самый массовый случай. И то опять же потому, что вы пока молоды, здоровы, умны, у вас ладится карьера и, надеюсь, личная жизнь. В любви у вас есть соперник? Если нет, то вы блаженны, как говорится. Но позвольте вас удивить и, может, ошеломить: не все же такие. Уверяю вас, не все. Не все просто равны от природы, вот с чего начинаются проблемы. Когда пооботрешься за долгую жизнь, понаблюдаешь, до чего все несхоже устроены, как рвутся кто куда... о!.. начинаешь ценить сложность и искусство таких вот балансиров...

Антон получил наконец возможность открыть глаза. Маленькое сморщенное личико улыбнулось ему.

— Спину вам потерять? — предложил Волчек. — Вы не стесняйтесь, мне приятно с вами поговорить. Здесь, в бане, поневоле на эту тему наблюдаешь, сопоставляешь, думаешь. И сам, как говорится, открыт. Вы пользуйтесь случаем, вникайте. В одежке я, глядишь, по-другому обернусь. Не обессудьте за небольшую лекцию. Она, кстати, имеет прямое отношение к анекдоту с вашим отцом и поискам выхода. Хотя я ставлю вопрос гораздо шире. Мы с вами воспитаны отчасти на добродушных теориях просветителей разных веков: разденьте короля и крестьянина — и вы их не различите. Не знаю, видели когда-нибудь эти люди голого короля и крестьянина? Такие разговоры напоминают мне детский вопрос: а как же без одежды узнают, кто мальчик, кто девочка? Как раз в одежке-то сейчас, в наше время, людей не различишь. И президент и бродяга в одних джинсах ходят. Все — равноправные граждане и, безусловно, должны быть таковыми. Юридически, по закону. Как женщина по закону должна быть равна с мужчиной. Но фактически, по природе? Равенство — это равноправие, но не равноценность. Вот оглянитесь, здесь это, как говорится, обнажено. По голому только и можно судить. Вот хоть этот удалец напротив — вон который окатывается сейчас из шайки: без одежды и паспорта узнаете о нем все, вплоть до имени, возраста, биографии, склонностей и художественных вкусов...

Малый был действительно колоритен благодаря подробной татуировке. На правой кисти в лучах восходящего солнца сияла цифра 1940, под ней имя Лева, на левой — крест с датой 1952 и надписью: «Спи отец». На каждом пальце обозначены были перстни и кольца. Левая нога позволяла прочесть девиз: «Все равно убегу», правая жаловалась за двоих: «Они устали». На плечах изображены были погоны с тремя полковничьими звездами, а во всю спину простирался собор Василия Блаженного, наколотый недурным художником, не имевшим, правда, подходящих красок, — вся монументальная фреска исполнена была какой-то линиялой дрянью. Даже на срамном месте читалось что-то неразборчивое — но это уж можно представить что. Живопись довершал длинный шрам на боку, от ребер вниз, весьма похожий на след скользнувшего ножа.

— Ну, этот даже слишком на ладони, — удовлетворенно подытожил Волчек. — Наводит на жутковатую мысль учредить вместо паспорта и характеристик татуировку. На всю жизнь — не увильнешь, не подделаешь... Но возьмите любого. Вот этот красавец, так превосходно снаряженный, и этот, полукастрированный самой природой. В одежке-то он, поди, представительней, и ему тоже многого хоцца, — журналист подчеркнуто произнес «хоцца», — и очень даже хоцца, уверяю вас. Разве он виноват, что таким родился? — желания-то у него не обкорнаны вместе с природой. Один способен полчаса вылежать на верхней полке, другой не выдержит и минуты. Или вон, смотрите, подходит к крану без очереди, и его пускают. Неизвестно почему, но пускают.. Потому что Петр Гаврилыч — он и здесь Петр Гаврилыч. Хоть вроде и не сильнее других и здесь никто не знает, что он начальство. А что-то в нем есть. А вот в этом нет, он почему-то десять минут ищет свободную шайку и не может найти. Так и вымоется в шаечке для ног, недотепа. А если ты тем более горбат? шестипал? если ты

чернокожий, обрезанный, дворянин, гений о семи пядях во лбу? Есть же, наконец, разница, родился человек красавцем или нет, с голосом или безголосым. Даже разница, родился ли он в Москве или в вашем благословенном Нечайске. Судьба начинается отсюда.

И этот возвращает мне те же мысли, — в который раз за последние дни удивлялся Антон Лизавин. — Все на разные голоса толкуют одно. И Милашевич, и Гегель, и потомок Николая II, и призрачный актер за угловым столиком. Люди разные, и всяк устраивается, как может, всякая судьба имеет свои основания, всякий анекдот разумен для наблюдателя, знающего, откуда и почему элита. Как эхо из разных углов мне же в ответ. Но какой холодноватый, отчужденный у всех звук! Что с ними произошло по пути?.. Голос маленького журналиста обретал напор, он возвышался в своем тазу под гулками банными сводами, как на постаменте, под его взором расстился пейзаж с мыльными отработанными реками и ручьями, с голыми скамьями и голыми людьми в голом отчетливом пространстве. Все здесь было откровенно, очевидно и грохот полезного труда вздымался к запаренным небесам.

— А между тем, — продолжал с высоты своего вдохновения лилипут, — безголосому, горбатому, бесталанному, некрасивой женщине и уроду счастья хочца не меньше, чем одаренному Богом. Даже больше — чтоб взять реванш. Почему он должен мириться с тем, что у него, видите ли, нет голоса? Зато у него есть, может, другое: жадность к жизни, цепкая воля, эластичная совесть. Он вашего певца наловчится держать вот так. И как сказать, что он не прав? Если природа или судьба не позаботились о соответствии его страстей и возможностей. Ведь способность бескорыстно, без зависти и оговорок восхищаться чужим умом и талантом — тоже талант, и не такой уж частый. Вы это недоверие и зависть к выдающемуся готовы презирать; вам кажется, что вы не из таких. Вы станете объяснять, что алмаз или тем более бриллиант потому и ценятся, что они редки, реже простого камня, — как редкий голос или ум, да еще ограненный, отшлифованный трудом. Но вы будете проповедовать это, зная за собой некоторый ум и талант. Пока вы спокойны и не знаете нужды. А хватит у вас смирения признать себя самого простым камнем? признать, что Бог обделил вас — не умом, на ум, как известно, редко кто жалуется, — но чем угодно другим? Согласиться с тем, что вы обделены красотой, силой, удачными родителями? Откуда у вас возьмется при этом ум и благородство, чтобы, признав это, не потребовать компенсации? Для этого нужно особое сочетание свойств. Такие разговоры напоминают мне вегетарианские призывы не убивать комаров, которые тебя кусают. Живые, мол, все-таки. А если человек самой природой или Господом Богом устроен так, что ему доставляет удовольствие есть плоть живых существ?

Антон Лизавин давно уже в задумчивости тер мочалкой одно и то же место на груди. Он так и не понял, вымылся ли, когда Волчек вдруг спохватился, что пересидел в тазу больше, чем рекомендовано для тонуса системой йогов, и заспешил в предбанник. Пожалуй, он с тонусом и впрямь переборщил. «Я, кажется, наговорил лишнего?» — возбужденно осведомился он у Антона, который последовал за ним. Но и в оазисной прохладе предбанника, завернувшись



в простыню, журналист остановиться не мог, он продолжал свою любопытную лекцию, а кандидат наук, как это не раз получалось в последние дни, слушал не перебивая. В предбаннике почему-то остро пахло псиной, и это напоминало то ли о Сенаторе, то ли о разговорах в его высокомерном присутствии.

Пренебрежение естественным неравенством, говорил журналист, увы, мстит за себя, мешая правильно оценивать и строить жизнь. Самая несбыточная утопия — общество, пренебрегающее хотя бы дураками (а они будут существовать вечно), гарантирующее наивысшее положение непременно для самых достойных, умных и. благородных. Тут-то они и окажутся дураками в другом... Тот, кто проник в суть истинной политики, не станет пренебрегать и дураками. Все претензии для него законны — но он постарается найти им общий знаменатель, уравновесить, подрегулировать. Или хотя бы не давать воли крайностям. И если нам даже досаждают жить некто или нечто, с нашей высокой точки зрения, анекдотическое — от этого не отмахнешься, этого не упразднишь идеальным росчерком. Надо со всем этим считаться и приспособляться изнутри...

Господи, думал Антон, ведь все о том же, все о том же! Почему же не успокаивает теперь стройная умная логика? Сиди в своем одноместном благодатном тазу, взирай на мир с юмором, пониманием и бесстрашием. И если в этом объяснимом мире кого-то должен клюнуть жареный петух — тем более. Нет, сам Антон был даже готов, над своими делами он бы именно посмеялся. Но что делать с тем, кому не до юмора, и какими разумными силлогизмами облегчить его, когда он смотрит на тебя старческими слезящимися глазами?

#### 4

Он вышел из бани в состоянии еще более смутном и растерянном, чем прежде, — вдруг даже затруднившись, куда идти. В магазин, потом к тете Вере и Зое? Отчего-то поскуливало сердце при мысли, как он увидит Зою. Не вообразил ли ты и себя влюбленным, как персонаж твоего автора? — не упустил случая поддеть его насмешливый голос. — Ты бы хоть объяснил ему толком, в кого он втюрился. В больную дурочку, хотя и красивую на вид. Так и скажи: в идиотку — вместо романтических выдумок. Знаешь, как мамы внушают дочкам: ты обрати внимание, какой нос у твоего красавца, — раз подскажет, другой — и добьется, что дочка этот неудачный нос первым делом и будет видеть. Иной раз нужно слово поэта, как справедливо заметил твой автор. Почему он вообразил, что за этим молчанием что-то есть? Никакой загадки, просто болезнь. Дело скорей в том, что сам он наполняет этот провал особым смыслом. — Но если наполняет, — пробовал поспорить Лизавин, — значит, что-то уже есть. И не ее дело разъяснить что — это участь и честь мужчины. Да знает ли она сама? Может, он обязан объяснить в этом молчании что-то утерянное ею — так автоматически замок запирает в комнате ключи от себя самого... А впрочем, не до литературных забот, спохватился Антон. Надо идти к Тоне, конечно же, к Тоне, объясниться наконец. Странно, что он еще задумывался, куда идти. Только надо обставить все убедительно. Он начал перебирать сценарии предстоящего объяснения. Как всегда, слишком живое воображение заставляло

его переживать не один, а избыточное множество возможных и невозможных вариантов. Занятый своими репетициями, Лизавин брел по улице вслепую, как будто читал на ходу книгу, — и почти столкнулся с Тоней, которая даже остановилась, поджидая, пока он в нее упрется. Сенатор обошел кандидата наук сзади, отрезая попятный путь.

Ценитель глупых комедийных сцен получил бы полное наслаждение, понаблюдав в этот миг Антона Андреича. После всех тонких и проникновенных вариантов — какое заикание, какой лепет сорвались с выпяченных по-рыбьи губ! какие понеслись туры на колесах! — и про то, что он как раз шел к ней, и про непонятное самочувствие, и даже зачем-то про встречу в бане. Про баню можно было и не говорить, многострадальный портфель его и так протекал, поскольку в рассеянности Антон забыл выжать толком мочалку и не положил ее, как всегда, в полиэтиленовый пакет. Более того, он и бородку свою оставил нерасчесанной, она слиплась неряшливо — не борода, а бороденка. Представьте себе этот сомнительный вид, эту растерянность и жалкие слова, чтобы понять, с какой усмешкой слушала кандидата наук Тоня — и поводила ноздрями, словно вынюхивая запах перегара. А впрочем, кто знает, что было за этой усмешкой — высокомерно сомкнутой усмешкой женщины, прячущей не слишком ровные зубы.

— Я всегда знала, что ты трус, — промолвила наконец она. — Но в таком виде ты мне еще не показывался.

Боксер тем временем обошел Лизавина, обнюхивая его ноги, задрал вдруг заднюю лапу, и не успел кандидат наук опомниться, как Сенатор облил ему брюки теплой струей.

Ученый-специалист объяснил бы Антону Андреевичу, что по-собачьи это могло означать метку владений: дескать, ты наш и знай это. Однако Сенатор был не простая собака, и поступок его можно было толковать еще и по-человечески, как знак презрения и одновременно уверенный намек: ты отлучен, но мечен и от тебя зависит вернуться, хотя для этого тебе придется пройти и не через такие унижения.

Случайный свидетель этого буколического происшествия, мальчишка с рыжим котенком на плече, широко раскрыл глаза, опасливо глядя на циничные задние лапы удаляющегося боксера. Потом лизнул мороженое из вафельного стаканчика и дал лизнуть котенку. Где пацану было понять, что на его глазах разыгрался сейчас нешуточный, хотя и немногословный, акт драмы, где речь шла о пошатнувшейся опоре, об уязвленном самолюбии, о сомнении в мере ценностей, а может, и о любви и попытке власти, которые вместе обнимаются словом «самоутверждение», да и о многом еще, включая рояль, полированный гарнитур и самого Сенатора! Антон Лизавин понимал это, но, странное дело, сквозь горькую дымку вины не чувствовал тяжести. Напротив, было облегчение, как будто отсекалась начисто одна возможность выбора. Стало проще решать, что делать и куда теперь идти. В магазин за продуктами. Или даже на рынок. День был небазарный и время позднее, тем не менее Антон зачем-то направился туда. (А отсеченная возможность еще тихо, с грустной музыкой ныла в душе, как, говорят, долго ноет еще ампутированная конечность.)

Ряды были пустынные, лишь голуби клевали не метенные с воскресенья остатки живого мусора, инспектировали площадь хищные коты да за крайним столом скучал небритый мужик в ушанке с оборванным козырьком. Из черной кошелки перед ним выглядывала, дергаясь, глупая курья голова. «Покупай курятину, парень! — осклабился мужик. — Молоденькая еще, мягкая». — «Живая ведь», — виновато сказал кандидат наук. «Отрубь голову — будет мертвая!» — захохотал и закашлялся мужик; желтые крепкие зубы светились из сизой щетины. Какая простая мысль, — подумал Лизавин. — Как просто и мудро умеют решать все люди, непохожие на меня. Ему вспомнилось, как единственный раз отец попробовал сам обезглавить петушка, — тот вырвался, недорубленный, с повисшей на ниточке головой, бешено дернул по двору, оставляя на песке и траве красную дорожку. (Давняя детская дурнота и чувство беспомощности перед чем-то непоправимым и жутким.) Длинные столы, растянувшись в скуке, переговаривались между собой на своем деревянном, прямом языке. О ценах, должно быть. Над сюрреалистическим пейзажем висела звонкая пустота. У палаток и магазинчиков по периферии рыночного забора толпились женщины в телогрейках, плюшевых шубейках, серых платках, валенках с галошами, с сумками и мешками, выстраивалась очередная очередь, где сейчас украдут перчатки. Голоса с гениальной ясностью слышны были Антону издали; что-то происходило с его слухом, он был раскрыт, а мысли оглушены.

— ...я сегодня троих в автобусе оштрафовала. Еще четвертая была, но она говорит: у меня, говорит, трое детей, муж бросил. Я говорю: ну и пусть он в огне горит, подлец такой, негодяй, раз он так делает. Раз он детей своих бросает. На что, говорю, он нужен такой? Небось валяется под забором пьяный, мерзавец, сволочь. У меня такой же. Каждый день пьяный приходит. Он тут шофером на базе работает.

— Шоферам пить опасно. Разобьется ведь.

— И пусть разобьется. Я б только рада была. На хрен он мне такой нужен. И так без мужа, и так.

— А он, значит, положил заговор против нее под покойника, и та стала чахнуть. Чахнет, значит, и чахнет. Пошла к той бабке, та ей все рассказала. Был целый суд. Потом милиционер в противогазе лазил в могилу доставать из-под покойника-то бумажку...

— ...пришел — ну совсем пьяный, на стуле не сидит. Я ему говорю: ты хоть умойся, сволочь. Умойся, говорю, скотина, холодной водой...

— ...на очередь его, вишь, поставили, только он уже не дождался...

(Чего не дождался? Умер, что ли?.. быстрый петух мчался вдоль забора — уже не безглавый, другой, он догонял курицу, когда тетка в Нечайске с усмешкой кивнула молоденькому Антону: «Что ж ты, помоги своему», как будто подразумевалась солидарность статей в этом раздавленном мире... бабья толпа у магазинов — мир женщин, с телами, похожими на сосуды и оплывшими, налитыми, оплодотворенными и сморщенными, как переспелые плоды; женщин с легкими движениями и легкими голосами, вымотанных и добродушных; женщин с лунным устройством тел, цветущих и отцветших.)

— ...а что молодая лезет без очереди? Не пускайте, женщины!

— Я беременная...

— ...одной-то трудно, в боку боль все хуже. А работать хожу в две смены, надо девочке пальто сшить...

— ...что-то не видно!

— Конечно, не видно. Всего полтора часа...

— ...я просто хочу сказать вам, что любовь — это лотерея. Посмотрите на меня — разве я не красавица? Сейчас делай снимок и выставляй в рамку на витрине. А Любка? Ни вида, ни зада, можете мне поверить. И что? У нее муж как муж, а у меня...

— ...ну бесстыжие пошли! Ну молодые!

— ...два сына алкоголика, третий непьющий. Хороший такой парень. И вот судьба: женился на алкоголичке...

— ...а на кой они вообще? Если уж тебе очень нужно, найди себе какого-нибудь садуна, пусть ходит. А потом проводи за порог, и он тебе больше не нужен...

— ...я ему прямо говорю: я, товарищ директор, за вас в тюрьму идти не намерена. Так прямо в глаза...

— ...и стирать на него не нужно.

— И стирать не нужно. А надоел этот — найдешь другого. И он тебе будет больше денег носить, чем муж. Не ты его кормить будешь, а он тебе подарки дарить. У меня соседка, ей сорок два года, к ней уже девять лет от жены мужик ходит, на пять лет ее старше...

...к одноногой на костылях, с ботиночной коробкой в руке, приближалась, как из зеркала, другая, и, как в зеркале, у одной была цела правая нога, а у другой левая.

— У вас какой размер? — еще издали спрашивало отражение.

— У меня тридцать шестой.

— Боже, какая удача!

И сразу раскрыли коробку, стали делить пару импортных туфель, записывать адреса.

— Вот удача-то! У меня еще валенки есть!

— ...молодым тоже трудно. И работать ей, и учиться, и семья тоже...

— ...он такой эгоист, такой нетактичный. Мне с ним не просто неинтересно, мне с ним плохо жить. В тот раз так было плохо — я не только простыни, я наперники изодрала...

— ...а мы как жили? Какую войну вынесли! Ночей не спали, картошку руками копали. Молодые про это знают, что ли? Мужики думают тоже: на фронте было тяжелей. Нам было тяжелей...

Оброненная картофелина хрустнула под ногой. Звуки разбегались, глядя в разные стороны: цокот шагов, щелест шин, гудки машин, обрывки речей. Антон Лизавин шел по улицам города, окна распаивались, стены становились прозрачны, а небеса были пусты и невидящи, как на лишенной облаков и воздуха любительской фотографии. Во всем была какая-то неживая, пенопластовая невесомость, шаг был легок, а ток крови в теле утомлял, будто она загустела и

напрягала резиновые жилы. Кто-то в куртке с откинутым капюшоном на ходу попросил прикурить, и сердце Лизавина екнуло. Спички оказались на месте, Антон в ответ вдруг сам попросил сигарету. Мутноглазый, потасканный человек еще затем некоторое время шел с ним рядом, что-то бормотал под нос, продолжая разговор с самим собой, не для Антона:

— Я любил его, — бормотал он, забыв про зажженную сигарету. — Я его любил, Иисуса-то Христа. А теперь я с Анной живу. И с Альфредом. Обезьянки у меня: Анна и Альфред...

У перекрестка он попросил помочь ему сойти с приступочки тротуара. На ровном месте он справлялся сам, а чуть вверх или вниз — что-то разлаживалось у него с равновесием. Господи, думал Антон, как представить себя человеком, от шага которого кренится мир? Как увидеть мир таким вот мутноглазым взглядом?.. взглядом любого ближнего? Дым крепкой сигареты с непривычки щипал глаза, Антон отплевывал с губ табак. Он был нелеп и забавен с этой сигаретой, Антон Лизавин, нелеп и забавен, как все мы. Что он тянулся распробовать, понять?.. Строй новобранцев в сопровождении усталого лейтенанта перегородил дорогу: стриженная малорослая шпана последнего разбора, одетая, как водится, во что похуже. Скуластые, смуглые, узкоглазые, в кепочках, шляпах и ушанках, с папиросками в губах, они шли вразнобой, с отчужденными усмешечками мимо остановившихся прохожих. «К вокзалу пошли, на пересадку, — объяснил кто-то. — Муххамеды». — «Не, это не муххамеды, это бабаи», — уточнил другой голос... Какие муххамеды, какие бабаи? Дохнуло на миг чужой, неизвестной, грозной жизнью, вновь обостренным ощущением, что ты знаешь очень отгороженный ее кусок — и слава богу, что есть перегородки и кто-то их охраняет. Ох-хо-хо, нешуточное это дело — когда сойдутся две такие толпы, и попробуй стать между ними, уверить, что все одинаково хороши. Сомнут... ногой в горло... затопят. Пьяный мужик ходил, матерясь, по улицам Нечайска с двустволкой, и детям велено было не выглядывать в окна, потому что он грозился стрелять по первому попавшемуся; потом рассказывали, что его повязали и увезли, но он так и остался невидимым вместе с загадочным детским страхом... А-а, так-то ты любишь всех, — ехидно встрепенулась внутренняя честность. — Знаем мы эту доброжелательность из-за окошка. — Но почему я должен все это знать? — попробовал защититься он, — про всех про них? Я не хочу. Я никогда не хотел. И зачем? Вникнуть, что вот у этой подметальщицы хромота, тело, жизнь и судьба как у моей матери? Подумать только, что каждый из этой прорвы людей претендует наравне с тобой вобрать всю полноту мира, представлять этот мир. Какое неохватное разнообразие лиц, таких непохожих на мое, понятное, целесообразное! Как можно жить с таким вот несуразным ртом, лбом, плечами? До чего не по-моему устроены они все под одеждой. — Вот именно, — подозрительно легко согласился двойник, — мы воспринимаем мир таким, каким готовы его воспринимать, и в этом слове «готовы» сливается: хотим, способны, предрасположены. Но как при этом нащупать, припомнить загадку подлинности, прорваться сквозь отчуждение, наполнить жизнью каждую клеточку своего бытия?..

В глубине улицы промелькнул спортсмен Вася Лавочкин; неслышными, как полет, махами он пробежал сквозь город, преодолевая невидимые барьеры. Антон давно перестал узнавать, где идет; это была неведомая окраина, хотя порой чудился знакомый дом, перекресток, поворот; однако изгиб улицы вновь выводил его к каким-то затерянным пустырям и заборам. Он поворачивал назад, но раздвоившийся переулок возвращал его не к прежнему месту. Бельма замазанных витрин были слепы. Безголовый петух домчался до горизонта, подкрасив закат цветом своей крови.

Внезапно Антону послышался оклик. Голос был болезненно знаком. Лизавин похолодел и не сразу нашел в себе решимость оглянуться. На другой стороне улицы стояла Зоя. Вокруг раннего одинокого фонаря над ней выдавливался в воздух слабый ореол мандаринового сока. Он понимал, что этого не может быть, что голос ему послышался и это не она, и все же пришел в себя не сразу. Она махнула рукой, дожидаясь, пока пройдет машина, и сама перешла к нему.

— Ты удивительно похожа на свой голос, — поспешно заговорил Антон, чтобы замаять свой испуг. — Я, оказывается, помню твой голос. Именно такой. Она улыбнулась.

— Прости, что я так нервно. Я действительно испугался. Не голоса твоего... Этого я почти ждал. Я слышал, бывает такое. Я испугался: мне показалось, ты машешь какой-то бумажкой, телеграммой. Подумал, что из дома. С отцом что-нибудь. Мне иногда такой суеверный вздор приходит. Воображение... Людей с таким воображением надо бить по голове дубиной. Хорошо, хоть ручка моя потерялась. Но это я тоже болтаю... суеверие. Не обращай внимания. Я так и воображал, что, даже если ты сможешь, я стану говорить сам... заполнять провал мелочью слов. Мне это уже однажды снилось. С тобой узнаешь это искушение. Вот человек в задумчивости, в грусти, а ты ему говоришь: о чем ты? чего молчишь? ну скажи хоть словами, и сам увидишь, что не так все сложно, не так серьезно. И действительно, в словах все проще, и с этим уже можно справиться. Мы ведь и для собственного спокойствия вытягиваем из других слова, чуть не вымогаем их. Человек не может без этого. Конечно, мысль изреченная... Но и жить с другими без этой лжи совсем нельзя. Без лжи, без невольной ограниченности, неполноты. Иначе б мы все замолкли. Может, это и было бы мудрей, величественней, не знаю... Недавно мне писал на эту тему Максим... А я так и подумал: это ты рассказала ему про своего отца. Больше никто не мог.

Она покачала головой.

— Не ты?.. Или ты не хочешь об этом? Прости за попытку вторжения. Я и так все эти дни сдерживаюсь, чтобы не спросить тебя... Но мысленно пробую. Помнишь, как я за столом тогда брякнул: для души важно не столько чудо, сколько способность им восхищаться? Я заметил твой взгляд и почувствовал: попал. Вот близкая душа, она меня узнала. И потом, когда руку подала на прощанье. Только это и дало мне надежду — потом, на вокзале, — что ты пойдешь со мной. Именно со мной. Я угадал? То есть ты пошла, но угадал ли я?.. Ты не отвечай, конечно, я понимаю, что нельзя так спрашивать. И понимаю, что уходила ты не ко мне. Но он нам и это оставил. Нам обоим, ты все же это поймешь. Он столько от себя отдает мимоходом... я почему-то боюсь своих мыслей

об этом. Ведь я хожу эти дни, и сейчас иду, — а тетрадка-то бьется в кармане; мне кажется, я думаю о другом и говорю с другими — а все-таки с ним. Только перечитать по-настоящему все боюсь...

## 5

Разом зажглись фонари, погасло небо, улицы вмиг переменились — так неузнаваем становится человек, чьи внутренности высветились на экране в рентгеновских лучах. Лизавин вышел к реке. Безлюдная дорога поднималась над берегом вверх и на взгорке спотыкалась, как о пенек, об одинокую фигуру — это был сам Антон, уже забравшийся туда: странствующий в пустыне, у которого от жажды загустевает кровь и сознание раскаляется, способное проникнуть в непостижимое. Снизу дышал ветром и холодом первобытный мрак; река, еще не оправившаяся от ледохода, ворочалась там, и слабое сцепление фонарей вдоль набережной, казалось, сдерживает гигантское залегшее чудовище. А по другую сторону гроздь огней распускались, висели в ночи без опоры. В стеклах отражались цвета реклам, и окна светились, как витражи. От раскинувшегося тела города, как от улья, шел смутный живой гул, составленный из россыпи голосов; в электрических тропиках возились люди, и все они были как на ладони перед взглядом с высот. Лаборантка Клара Ступак возвращалась из парикмахерской. Она высидела там два часа ради завивки, волосы ее пахли лаком. Она шла по улице мимо витрин и афиш; одна звала в клуб машиностроителей на лекцию «В чем смысл жизни» и соблазняла по окончании танцами, другая показывала певца с такой роскошной пастью, что в ней хотелось жить, как во влажных субтропиках, третья, четвертая и пятая повторяли то же лицо и имя, размноженное в миллионах экземпляров, запечатленное в телефонных книгах, на пластинках, пленках, в журналах, газетах, на мемориальных досках и на камнях пирамид. Леонард Кортасаров боковым переулком спешил на концерт, площадь у подъезда была запружена мечтающими кашлянуть возле роскошного голоса. Зачем толпиться так? — думал глядящий с высот. — Зачем так толпиться у входа в вечность? Все там будете... Но Клара Ступак не видела ни афиши о смысле жизни, ни портрета певца. Глаза ее были замутнены слезами. А плакала она потому, что минуту назад, у выхода из парикмахерской, когда она задержалась перед зеркальной витриной полюбоваться собой, какой-то угрюмый тип полез к ее перманенту со своей расческой, щербатой, грязной до черноты, забитой жирной перхотью. Почему-то возникло у него мрачное неодолимое желание нарушить параллельность ее кудрей, он даже не улыбался — как лунатик, и бедная лаборантка в ужасе убежала от него, не в силах понять, что делается с миром; собственная одинокая красота казалась ей бессмысленной и ненужной. Город был полон людей, которые брели сейчас неприкаянные, не сумев разобраться по парам, брели непересекающимися тропками по улицам и переулкам и, даже если встречались, не догадывались, не могли остановиться, взглянуть, узнать друг друга — всего-навсего, чтоб сделать главное в своей жизни дело. Телефонистка Леночка Ясная встретила — и не узнала обладателя приятного баритона. Он не имел к своему голосу никакого отношения, как в плохо

дублированных фильмах, даже губы шевелились невпопад — ошибка! ошибка! — и не им целоваться сегодня в подъезде, под воспаленной пыльной лампой, где пахнет сырой известкой и кошачьим дерьмом, где потолки черны от прилипших горелых спичек, а стены исписаны бессмертными уравнениями любви. Пока они сидят в темном зале кинотеатра «Факел», на экране идет киножурнал, там премьер-министры обменивались речами, бумажки на вид были совсем одинаковые, но они обменялись ими с торжественными улыбками и, довольные, пожали друг другу руки. А голос над ухом опять казался знакомым, как из телефонной трубки, и пальцы тронули стеклянную ткань чулка. Ах, не верьте, не верьте ему, Леночка! а впрочем... У ресторана «Европа» из троллейбуса вывалилась ватага немолодых толстых женщин, они размахивали сумочками и хохотали, как школьницы, пугая прохожих: выпускницы педучилища праздновали день встречи; скоро они, как стадо слоних, будут отплясывать под оркестр что-то не очень модное, так что задрожат люстры у антиподов в Австралии или на Новой Гвинее, а газеты на другой день сообщат о загадочном землетрясении. За столиком уже сидит усталый инженер Прошкин. Он никого не ждет и не хочет даже спать. Сегодня на летучке его цех пригрозили оставить без премии, и он хочет напиться. Против него пьют двое; богатый таксист и продавец мебельного магазина. После долгих дневных трудов, после натуги, нервов и прохиндейства, добавивших презрения к миру и к тем, кого судьба подсунула им в добычу, они обменивают все это на одурь, похмелье и головную боль. Беседа идет о любви, о давних и новых похождениях, и Прошкину не терпится добавить свое словцо в этот лексикон молотобойцев или пильщиков, как будто речь идет о тяжелой физической работе, с насадой и кряканьем; ему тоже есть что рассказать. Кружение в голове. В городском парке пробовали перед праздниками карусель. Всадник мчался на твердой лошади, с улыбкой наслаждения хлопывал ее по холке в расписных цветах. Восточный человек Небезызвестный-Бабаев нес домой за теплой пазухой полученного по знакомству цыпленка, он уже окрестил его Табака и с улыбкой думал, как станет вскармливать даровым просом. Вечерняя толпа разбиралась, расфасовывалась по коробкам квартир: коробок на коробке, ящичек в ящичке, составные пирамиды жилищ. Родители ушли в кино, три девочки-школьницы в пустой квартире впервые пробуют курить. У них кружится голова от дыма, от соблазна греховности, от догадки, как глубоко могут пасть, и от ужаса перед собственными безднами. Спортсмен Вася Лавочкин записывает в специальный дневник сведения о самочувствии своих мышц и органов: после шести километров болела правая икроножная, пульс в норме через три минуты, легкий звон в ушах. Его соседка-старуха очередной раз раскладывает на скатерти сложный пасьянс «Судьба-индейка» из двух колод; она втайне давно задумала умереть, как только пасьянс сойдется, но каждый раз вынуждена была разочароваться и с ужасом думала порой, может ли он сойтись вообще. Звон в ушах. Потомок неизвестного императора стриг перед сном ногти. О чем он думал? Ни о чем. Может же голова быть совсем не занята мыслями — звон, журчание воды, когда бачок, выдав полную порцию, наполняется заново. Мало ли о чем человек надумался за день: что одеть, какую погоду принесет антициклон, кто победит на выборах в Аргентине и почему главные люди



в жизни сейчас — маникюрщицы и директора магазинов, они всё могут достать, с ними водят знакомство, как со знаменитостями. Звон, журчание в воздухе, гул улья. Инопланетяне с повисшего над землей корабля рассматривали в телескоп похожих на себя существ; они специально для этих наблюдений ненадолго очнулись от анабиоза и теперь ахали, удивлялись, до чего вредно действует жизнь на организмы, не научившиеся себя беречь. Поживут, поживут, глядь, уже и постарели, и поувяли. Вот, правда, Никольский молодец.

А переживания! А болезни! Вот кто-то загнанный, весь в мыле, ёкает селезенкой. Вот кто-то, еще оглушенный, вновь расправляет крылышки и с самоотверженностью слепня тянется на запах плоти — авось на этот раз выгорит. Некоторые даже умирают. Нет, низкая цивилизация. И мудрые наблюдатели складывали свои телескопы, чтобы возвратиться в морозильные камеры. Им еще смотреть да смотреть. Мерцали огни, конь в карусельных цветах несся над городом, где в высоте встречались двойники, обмениваясь новостями, — над Нечайском, где темнота полнилась обнимающимися изваяниями, где мимо дома Кости Трубача шли парочки на лекцию о любви и дружбе, а портативные магнитофоны пели голосами взаврадашних, хотя и нескорых еще соловьев, где родная лампа светила в старомодном оранжевом абажуре, под ней морщинистое лицо с красным носиком, со спокойными веками запрокинуто к небу среди бумажных цветов... Ах, боже мой, не пугаться же опять вздора, выходки мысли!.. слава богу, пропало опасное золотое перо, а рано или поздно... От опасных мыслей, как от судьбы, не убежать, а рано или поздно все будет со всеми — все станет просто...

Он был все же испуган и для маскировки, чтобы замести следы, стал представлять умершими всех знакомых, всех встречных, всех подряд и самого себя. Так сказочный хитрец ставил кресты на всех воротах, чтобы сделать их неотличимыми от единственно меченых. Очень даже просто: сейчас камень свалится на голову, тот проваливается в яму, того настигает молния, та проглатывает иголку... — чего тут неправдоподобного? рано или поздно жизнь распорядится сама; чуть пораньше — и нет никаких проблем, нет жареных петухов, фельетонов, пенсий, невозможной любви, сплетен. Сцена была усеяна трупами, как под занавес шекспировской драмы, запутанный мир безлюдел и упрощался... Антон Лизавин шел по забывшим свои названия и даже цель улицам с бредовым, вконец раскисшим портфелем в руке. В случайном стекле на ходу мелькнуло его отражение, Антон себя не узнал.

Дождь начал пробно, сбивчиво, потом пошел в ногу — стеклянный, не ко времени, колкий, леденящий дождь. На тяжких небесах светился электрический пар ночных заводов. Фонарь забавлялся своей мощью, раскачивая гигантские тени вместе с принадлежащими им предметами. Вдруг Антон узнал место, куда забрел. Он был у тупиковой линии, куда вагоны заезжали так редко, что рельсы успевали утратить свой небесный блеск и текли здесь тусклые, ржавые. Мокрая колонна светила в черном воздухе, покачивалась от ветра на крепких корнях. Ледяная крупа шебуршала о жесткий воздух, наполняя его сухой нездоровой сыпью. Низкие крыши блестели, как лакированные; все было в черно-белом жутковатом сиянии. Антон не заметил, как остановился. Он внезапно

устал. Руки и ноги были налиты пустотой, как в начале болезни, тяжесть портфеля разжимала пальцы. Ему казалось, что он понял все прежде, чем его достиг уже слышанный голос, прежде, чем оклик вывел его из оцепенения. Маневровый паровоз пыхнул паром ему в спину. Сверху матерился перепуганный машинист. Антон не глядел на него. Зоя шла навстречу из накрененного ущелья, из нереального отдаления, как из перевернутого бинокля, замедленно двигалась по тротуару, тянула в руке бумажку. В темноте мозга или в черноте воздуха мелькнуло нечто, похожее на ту яркую, слепящую, заполненную суетливыми зигзагами вспышку, какая бывает перед обрывом кадра, — еще миг, и зрители начнут кричать «сапожник» и топтать ногами. Он знал, что теперь все это взаправду, он был бесчувствен, словно заledenел, но кто-то в нем сопротивлялся без голоса, бессильно и с испугом: ну знаете... нельзя же... не так же... нет...

Анемоны подцвечиваются траурной чернотой, если их перед продажей поставить в воду с чернилами. Поспешившие невесть откуда пчелы кружили над ними с опаской, охотней они садились на бумажные яркие цветы, украшавшие изголовье. Пчелы были разбужены внезапным теплом. Все окрест сияло ярко и влажно, как будто свернули мокрую подложку с переводной картинки. Окна прозревали от прикосновения тряпок; в домах выставлялись рамы, убиралась пыльная вата, украшенная осколками елочных шаров. Женщины в окнах и у калиток провожали взглядами погребальную ладью, плывшую вверх к кладбищу над торжественной дрожью дыханий, всхлипов, музыки и голосов, которые поднимались от земли к небесам вместе с трепетом молодого парящего воздуха. Верная давнему страху, мама не пожелала воспользоваться машиной. Отец лежал лицом к синеве, на удивление не изменившийся; он словно принимал напоследок парад родных улиц, домов, голых ветвей и скворечен, детей с расширенными от испуга и любопытства глазами. На лиловых губах его чудилась торжествующая усмешка: вот так-то! Ушел, ускользнул от бессмысленных треволнений, успел так просто справиться с тем, что другим, вокруг гроба, еще предстояло — и как еще удастся? Ведь жить — это кто как сумеет, а отойти так легко и вдруг — счастье. Убежал, ускользнул, другим оставил ожидание, горе, вину, малодушие, слезы. На распухшем лице мамы сквозь гримасу застывшего плача проступали недоумение и обида: как же он так? как будто без слов было договорено, что она первая, что при всех своих болезнях она успеет, должна успеть раньше него (и слово «успеть» подмигивало двойным смыслом). Нестройный оркестр играл с той сугубой тягучестью, что позволяет любую музыку превращать в похоронную. Музыканты не успели просохнуть с позавчерашней свадьбы, а трубач Лева Невинный вдобавок сломал руку, но его место без репетиций согласился занять Костя Андронов — из уважения лично к Андрею Поликарпычу. В общем горестном хоре он вел свое, особое соло, все зарываясь куда-то ввысь, и невидящие глаза его отливали крутизной облупленного белка.

По сторонам кладбищенской аллеи уже проглядывала местами зеленая трава. Оказывается, Антон давно не был тут. Где-то слева, у ворот, была могила брата, ее уже тесно обступили новые ограды, отцу здесь не было места. У самой дороги оказался деревянный столбик Вали Бусыги, Антонова одноклассника, разбившегося на мотоцикле; оберегая Антона от переживаний, мама тогда не

сообщила ему день похорон, теперь впервые Лизавин увидел заросший травой холмик. Когда хоронили Меньшутина и Юрку Бешеного, он тоже оказался в отъезде, их могилы, неразличимые, терялись в чаще деревянных крестов: кладбище разрасталось быстро. Единственный каменный памятник возвышался у боковой ограды, над кем-то из старинных здешних князей Звенигородских: привозной мраморный ангел с отбитым крылом над коленопреклоненной скорбящей женщиной. Теперь второй скульптуре, возможно, предстояло встать над гробом отца. В завещании, которое неожиданно для всех оказалось составленным, он просил водрузить над собой ту каменную бабу, что нашел для музея. Крылось ли за этой просьбой честолюбие? обида? желание напоследок уйти от проверки — или презрение к ней? Что бы там ни было, он имел право на такое желание. Пусть стоит лучше здесь, думал Антон. Пусть водят, если хотят, экскурсии сюда, на могилу; отец и надгробие его — равно достопримечательности Нечайска, ими надо гордиться, как гордятся произведением искусства или самобытным явлением природы. Прикрепили же вот к этой пирамидке вместо фотографии под стеклом стихи из «Нечайских зорь» — единственную публикацию безвременно ушедшей поэтессы. А к твоему столбику прибьют такую же вырезку со статьей. Гене Панкову — голубиное чучело и сапожнику — его лучшие сапоги.

Утром Антон перебирал бумаги отца: дипломы, справки, орденские книжки. Попалась даже графологическая характеристика тридцатилетней давности. Прямой, без наклона, тип написания букв, по мысли эксперта, свидетельствовал об общей уравновешенности натуры; в то же время вырывающиеся из строки закорючки и росчерки (например, в «б», «у» и особенно в «з») говорили о неустойчивости и некоторой натужности этого равновесия. Тесную лепку письма автор заключения связывал с затянувшейся инфантильностью, с запоздало развитой сексуальностью, которую в целом определял, однако, как достаточно выявленную и яркую. Рисунок и размер прописных обнаруживали склонность к фантазии, а неравномерность элементов подписи расценивалась как некая уклончивость перед жизнью, позволявшая оставлять незавершенными собственные чувства и догадки. В целом же характер письма, успокаивал знаток, свидетельствовал о предрасположенности к счастью и о свойствах, позволяющих эту предрасположенность развивать... Читать это было отчего-то совестно, как будто он подглядывал наготу еще живого, так похожую на собственную наготу.

Он боялся встречаться с кем-нибудь взглядом: понимают ли они, что он виноват — и в чем, как виноват? какой особой постыдной виной обернулась для него извечная вина детей перед родителями?.. Направлением торжества руководил один из тех уместных хлопотунов, что на любых похоронах чувствуют себя главнее покойника. Рядом раскрыта была еще одна яма: хоронили возчика коммунхоза дядю Гришу. Он угодил ногой в колесо своей телеги — увлекся на ходу репортажем из приемника. Перелом был нестрашный, но отказало сердце, и мучился он недолго. Последние его слова были: «Слава богу, наши ключики выиграла». Когда-то дядя Гриша пас нечайских коров, кормился при дворах; наделила ли его мудростью эта халдейская профессия, созерцание природы и

звездных ночных миров? Сейчас его лицо 'было серьезно и простодушно; между веками левого глаза приоткрылась птичья пленка... Вокруг, как в финале старинной комедии, собрались действующие лица: земляки, учителя-сослуживцы, ученики, соседи, фронтовики при орденах и медалях. Обычно не вспомнишь и не подумаешь, сколько тут прошли войну: и старичок-бухгалтер, и забуддыга печник, и болезненный фельдшер, и скряга Бабаев, и тихий чудак. Неужели так мало значат теперь даже воспоминания, что в иные минуты, как ветерок истины, овевают их повседневные лица? И все, что казалось главным, что было драмой, трагедией и торжеством, как детские слезы, как несправедливая двойка, спортивные кубки, похвальные грамоты, несчастные влюбленности, перехваченные куски, страхи, выговоры, премии и фельетоны, — что они теперь? Черточка на столбике между двумя датами? Но что же у нас тогда есть, кроме этой черточки? Не бесследны же в ней даже детские обиды и слезы? Между замкнутыми цифрами все вдруг затвердевает, и как ни потешайся, оказывается, что мы настоящие, до холодка по спине настоящие. Чем же угодна эта наша жизнь судьбе или Богу? Доделанным до конца делом? результатом? или просто тем, чтобы своим теплом, трудом, поиском, своими страстями и анекдотами, энергией своего бытия поддерживать общее, наследственное тепло мира? И если нам не дано этого понять, то в чем смысл нашего стремления думать об этом?..

По пути в Нечайск Антон перечитал притихшую в кармане пальто тетрадку. С пониманием, какого не было у него еще день назад, вглядывался он в этот напряженный почерк. При всей энергии было в нем что-то уже немолодое, от строк смутно веяло предсмертной запиской. И Антон вдруг с несомненностью ощутил: он больше никогда не увидит этого человека, толкнувшегося в его жизнь, словно странная нездешняя птица, чтобы унести куда-то дальше навсегда, с ушибленным крылом. О, как виноваты мы перед теми, кого не поняли, на чей голос, беду или тревогу не сумели откликнуться, кого не смогли удержать. Мгновение надломилось, он где-то уже падал, падал с невозможной для жизни высоты, щедро наделив тебя тем, чем сам был жив. Это может называться тоской, напряжением, страстью, любимым словом, противоположным расслабленности, безразличию, остановке и смерти. О, прекрасные лица, безвозвратно мелькнувшие в нашей жизни! Мы прощаемся с человеком насовсем, не подзревая об этом. Во всяком прощании есть частица смерти; разница только в надежде на возвращение. Захлопывается дверь, затихает голос, уходит поезд, закрывается крышка, гроб опускается на веревках — нам остается память, вина, продолжение, и птица поет в ветвях, как пела здесь веками, — вечная птица, все та же, все та же, потому что лишь в этой непрерывности и памяти — залог бессмертия.

Вот мы расходимся от выросшего холма. С небес, как с души, словно сняли пленку. Земля не спеша поворачивается дальше, навстречу ночи, живой налет шевелится на ее терпеливом теле. Ветры проносятся над головами людей, народы живут под открытым небом, на перекрестках истории. Человек идет по дороге, не замечая слез, нелепый и упрямый рыцарь, один из нас, звоном щита готовый приветствовать новый день.